Анатолий Семенович Маляр

Записки одессита. Оккупация и после…

Книга повествует о жизни обычных людей в оккупированной румынскими и немецкими войсками Одессе и первых годах после освобождения города. Предельно правдиво рассказано о быте и способах выживания населения в то время.

Произведение по форме художественное, представляет собой множество сюжетно связанных новелл, написанных очевидцем событий.

Книга адресована широкому кругу читателей, интересующихся Одессой и историей Второй Мировой войны.

Содержит нецензурную брань.

Записки одессита. Оккупация и после… Часть 1 (и единственная).  
Вторую часть нужно скачивать небесплатно.

**Анатолий Маляр, Евгений Маляр**

## Предисловие соавтора

Об Одессе написано очень много книг. Некоторые из них очень точно передают неповторимую южную атмосферу города, повествуют о событиях давно минувших эпох и вызывают желание посетить разные места, связанные с литературными персонажами.

Немало произведений посвящено и войне, но внимание авторов в большей степени фокусировалось на одесских отважных защитниках и подпольщиках, безусловно заслуживших этого. О простых обывателях, живших в городе во время румынско-немецкой оккупации, написано крайне мало, а то, что есть, к сожалению, порой чрезмерно политизировано.

Как они выживали? Как добывали хлеб насущный? Что случилось после того, как захватчики были изгнаны из Одессы?

Этому как раз и посвящена предлагаемая вниманию книга.

Теперь о том, почему я, сын автора, считаю ее также и своей. Это просто: мы с отцом работали над текстом вместе. Когда он решил изложить свои записки для меня, я понял, что материал бесценен. Листы, исписанные убористым отцовым почерком, содержали нечто, о чем теперь уже никто не сможет рассказать. Большинство людей, помнивших те времена, ушли туда, откуда голоса не слышны. К тому же не всем и хотелось вспоминать о войне и не менее тяжелых следующих десятилетиях. И не все имеют к этому способности.

Период оккупации по неясной причине завораживал меня с детства. У нас было обыкновение по вечерам прогуливаться по городу. Обычный маршрут пролегал по Александровскому (тогда — проспекту Мира) до Дерибасовской, где мы обычно пили минеральную воду в магазине «Куяльник». Затем мы не спеша прогуливались мимо Оперного, прохаживались по бульвару, и назад, домой, по Екатерининской (Карла Маркса).

Нам всегда было, о чем поговорить. Иногда отец вспоминал своего папу и показывал мне места, тоже исхоженные ими десятилетиями ранее. Рассказывал он как-то бесстрастно, но я чувствовал, что все это, буквально каждый булыжник мостовой на Пушкинской или Жуковского, бесконечно ему дорого. Возможно, отчасти поэтому я тоже очень полюбил наш город, настоящий, а не тот, который показывали в кинокомедиях про веселую жизнь лихо ломающих язык одесситов.

Следует сразу же уточнить: против юмора лично я ничего не имею. Совсем наоборот, я — за! Причем сразу двумя руками. Он есть и в книге. Однако общепринятый расхожий портрет города, созданный, к сожалению, не без участия одесситов, зачастую очень обеднён. Одесса, как поется в известной песне, «знала много горя». Она бывает суровой.

Далее немного о политике. Кому-то что-то в этой книге наверняка-таки не понравится. Тут уж ничего не поделаешь. Правда не может всем быть по нраву. Она не всегда соответствует уже сложившимся представлениям, в частности, об Одессе, ее обитателях и пережитых ими временах.

Задача понравиться всем не ставилась. Единственное, за что лично я готов поручаться, это о том, что все это — правда. Люди, описанные в произведении, действительно ходили по этим улицам, жили в этих домах, говорили и делали то, что тут изложено. Мне доводилось общаться со свидетелями событий, порой с отцом никогда не встречавшимися. И все они подтверждали — всё было именно так.

Жили в Одессе Шикель-Макарона, Жирный Тонька-Сороконожка, Ленька-Мартын по фамилии Бидрий (он и сейчас, к счастью, есть), Ольга Каземировна со своим мужем, служившим в сигуранце, Толик Тит, Валера-Кишка и даже Павлик Морозов, попрошайка с Привоза (не тот, про которого знали когда-то все). И многие другие персонажи тоже дышали этим воздухом. Они не выдуманы, просто описаны. Правдой является история про замурованного женой в небольшой комнатушке мужа-еврея, пережившего оккупацию и покончившего с собой уже после освобождения.

Моя роль в создании книги состояла преимущественно в литературной обработке. Так получилось, что вот уже много лет я зарабатываю себе на жизнь умением излагать мысли. Этот навык я и применил, когда занимался редактированием произведения. Мы садились за кухонный стол и обсуждали каждую фразу, пока не добивались максимальной ее краткости и понятности. Все это время мы были счастливы.

Как-то отец сказал мне, что правда — это не то, как считает большинство людей. Правда — это то, что есть или было на самом деле. Голосование здесь не работает.

Отец ушел из жизни через три месяца после выхода книги. Он даже успел прочувствовать на себе последствия авторского успеха, правда, нельзя утверждать, что это было очень уж приятно. Ему постоянно кто-то звонил по телефону, читатели многословно выражали свои восторги и делились собственными воспоминаниями. Это было бы прекрасно, но отец, к сожалению, чувствовал себя плохо. Ему пришлось даже выдернуть вилку телефонного кабеля.

Сам я никогда бы не написал такой книги. Мне просто не хватило бы жизненного опыта. У меня было счастливое детство, пришедшееся на конец шестидесятых — начало семидесятых. Я не ел цветков акации и ягод железняка чтобы насытиться. На меня не падали бомбы. Меня не кормили леденцами и мамалыгой вражеские солдаты. Мне не бросали в пыль жевательную резинку американские чернокожие матросы торгового флота. У меня не было потемнения легких. Я, к счастью, вырос в полной семье — мои родители оба меня воспитывали. Отца не убили на войне.

Центром событий этого одесского Амаркорда служит красивый большой дом на улице Жуковского угол Ришельевской. Это — всего лишь маленький кусочек одесской жизни, но как раз такой, по которому можно судить обо всем остальном.

Всем, кто любит Одессу такой, как она есть и была, адресована эта книга. Им она посвящается. Это — первая ее часть, в ней — про войну и первые послевоенные годы.

## От автора

Мой сын Евгений со школьной скамьи спрашивал меня о жизни города «при румынах». Коротко отвечать на такие вопросы сложно. Когда у меня появилось время, я уселся за кухонный стол и записал для сына то, что помню. Евгений многое уточнил, помог переработать, поэтому его участие в создании книги трудно переоценить. Посовещавшись, решили назвать мои воспоминания «Записками одессита». Надеюсь, эта книга будет интересна людям, интересующимся историей нашего замечательного города.

## Пролог

Эта небольшая книга не о героях. Это — описание Одессы и той обстановки, в которой пришлось жить обыкновенным людям, оставленным оккупантам как какой-то ненужный хлам (старикам, инвалидам, женщинам, детям). Потом по графе анкеты «были ли вы или ваши ближайшие родственники на территории, временно занятой врагом» переживших оккупацию не принимали на работу, что часто означало для них голод и смерть. Это было клеймо, почти такое же, как у тех, кто побывал в плену или тюрьме.

Руководители партии и правительства обосновано полагали, что люди, побывавшие в оккупации, уже никогда не будут им рукоплескать, умиляться их доблести и гению.

То, что я пишу от своего имени, не означает, что происходящее тогда касалось только моей семьи и друзей-товарищей по несчастью. Такой жизнью жили тогда почти все одесситы, а многие и более жуткой.

Почему я раньше о том, что видел и знал, не говорил и не писал? Потому что мне было не хуже, чем остальным.

Пережившие оккупацию не считались «врагами народа». Они были как-бы «подозреваемыми», впрочем, непонятно в чем. Просто, видимо, существовали секретные директивы, разосланные по отделам кадров, как с ними поступать. Родственная связь с этими людьми резко ограничивала возможность получения хорошей работы, а тем более продвижения по службе. Они имели те же права, что и отсидевшие свой срок в тюрьмах, и даже могли голосовать за «кандидатов в депутаты». Такое право приносило им большую пользу: они могли купить пару-тройку дешевых пирожков в буфете избирательного участка.

Стараюсь быть максимально правдивым и понятным одесситам, и не только.

Большинство окружавших меня горожан тогда просто выживали и старались хоть как-то прокормить своих детей, больных, стариков. Продавали все, что у них было, а когда не было, что продавать, вынуждены были работать.

Любая работа на оккупированной территории после освобождения города считалась преступлением, пособничеством врагу и каралась соответственно. Выбора не было.

Людей, которых наши отступающие войска оставили, румыны, а затем немцы могли убивать и убивали без суда и следствия.

После освобождения «черные воронки» увозили оставшихся в живых с той же легкостью. И никто, даже ближайшие родственники, не знали, куда их везут. Через двадцать-тридцать лет им сообщали, что арестованные были ни в чем не виноваты.

Людей из таких семей я видел, когда проживал на углу улиц Привозной и Ленина, где все «удобства» были во дворе.

Если человек не был в оккупированной Одессе, он не сможет описать правду об этом периоде жизни города.

Миллионы этих граждан стали некой «черной кастой». По этой причине правдивой книги об этом периоде в советской литературе не было и быть не могло. Сейчас уже почти не осталось людей, переживших оккупацию в зрелом возрасте и могущих описать происходившее тогда.

Эти граждане СССР как будто были виновны в том, что наши войска оставляли населенные пункты. На них за это переносили ответственность, как и на попавших в плен или на невинно арестованных, и в каждой такой категории оказались десятки миллионов людей.

Я видел оккупацию глазами четырех-, пяти-, шестилетнего ребенка и мои переживания невозможно сравнить с эмоциями моих родителей или соседей, которым было за 30 и более лет, но у них теперь уже никто ничего не спросит.

Данные о количестве погибших одесситов во время оккупации взяты мною из различных источников, и они весьма условны.

У меня не было необходимости что-либо специально запоминать. Детская память сама сохранила события тех лет.

Начало октября 1941 года

Мне не было еще и четырех лет.

Вспоминаются бомбежки и воздушные тревоги с завыванием сирен и заводских гудков. Вспоминается переполненный людьми подвал нашего дома, где мы прятались с мамой и сестрой.

В какой-то из налетов авиации я вышел из подвала и оказался возле нашей соседки по квартире, тети Мани Талалаевской, которая под рев сирен жарила посреди двора на примусе лук на постном масле. Рядом стоял ее сын Гена. Тетя Маня дала нам по куску хлеба, положив на каждый по ложке жареного лука. Вкус этого бутерброда я запомнил навсегда.

За время обороны Одессы эвакуироваться могли практически все желающие, но вывоз населения начался неожиданно и срочно. Преимущественное право на эвакуацию получали семьи евреев и коммунистов. Было заранее объявлено, что при захвате города фашистами эти категории граждан будут уничтожаться в первую очередь. Многие этому не верили (немцы — это же культурная нация), и считали это очередной советской пропагандой.

Многие остались в надежде на предстоящую коммерческую деятельность. Вместо успешного бизнеса уделом большинства «коммерсантов» стала петля на шее во время экзекуций на Александровском проспекте.

Как я потом узнал, многие жильцы нашего дома, и не только нашего, кинулись опустошать продовольственные магазины и склады. Несли домой всё — соль, спички, мешки с мукой, арахисом — всё, что могли схватить и дотащить домой. Мои родители не отличались расторопностью и в силу жизненного опыта многого опасались. Но об этом позже.

Короче, в нашей комнате запасов продовольствия не оказалось.

В коммунальной квартире начались ускоренные сборы соседей. Наша семья не относилась к тем, кто имел первоочередное право выезда. К тому же моя бабушка по маме, Пелагея, тяжко болела. Ехать куда-либо было просто невозможно.

Всю мебель и громоздкие вещи соседи оставили в своих комнатах. Что было можно, спрятали на чердаке и в подвалах, надеясь, что там и найдут, а город скоро освободят. Люди брали с собой только самое ценное, еду и немного одежды. Все были еще дома, но по комнатам уже гуляло чемоданное настроение.

Вскоре эвакуируемые начали разъезжаться, двери на ключ уже никто не закрывал и можно было ходить куда вздумается. В одной из комнат я нашел небольшой мешочек с арахисом и ел его, сколько хотел. Хозяин этой комнаты уже уехал. Во всей квартире осталась кроме нас только семья Андрущенко.

Андрущенки были спокойной, доброжелательной семьей. Тетя Оля не имела никакого образования и зарабатывала свой хлеб тем, что за небольшую плату прислуживала зажиточным еврейским семьям, проживавшим в нашей коммунальной квартире: варила еду, убирала в комнатах и местах общего пользования. Она была еврейкой, а когда вышла замуж за дядю Петю Андрущенко, поменяла не только фамилию, но и национальность — стала украинкой.

Она разговаривала без акцента, произносила все буквы четко, в том числе и «р». У них рос сын Толя, младше меня на два года, он только начал бегать.

К нам, в опустевшую квартиру, переселилась тетя Дозя Бедрий с дядей Ваней и сыном Ленькой — он был подвижным пацаном младше меня на год. Мы дружно бегали по гулким коридорам и комнатам.

Несколько дней в городе стояла тишина. Жильцы на всякий случай не выходили из квартир. Ожидали неизвестно чего и нам, привыкшим к шуму, передавалась родительская тревога. Двери черного хода, выходившие на винтовую лестницу, не закрывались. По ним в случае воздушной тревоги можно было спуститься во двор, затем на улицу, где было безлюдно.

Играл я в какие-то свои игры в пустом нашем дворе, и вдруг увидел вылезшего из подвала мальчика несколько старше меня. Он подошел и что-то невнятно стал объяснять. Возможно, у него было не совсем хорошо с головой. Потом он взял меня за руку и повел в пустой, как казалось, подвал. В его огромном пространстве царил полумрак, лишь в некоторое помещения проникал свет через пыльные окна и уличные решетки.

Под ногами валялись дрова, какое-то старьё, уголь. Пацан подвел меня к какой-то старой женщине, лежащей в углу в куче тряпья. Она спросила парнишку: «зачем ты привел его?» Последовал какой-то невнятный ответ, после чего больной ребенок вывел меня обратно во двор.

О своем «путешествии» я сразу забыл, потому, что больше тех людей не видел. В том возрасте я мало понимал и ничего еще не боялся. Осколок чужой трагедии не произвел на меня особого впечатления. Наверное, родственники оставили больных людей в надежде, что они как-то переживут недолгую оккупацию…

Позже, при румынах и немцах, мы с Ленькой по подвалам не лазили. Нам хватало забот на улице, где было светло и нестрашно, даже когда город бомбили. Мне не исполнилось еще и четырех, и я не мог представить себе состояние старенькой женщины, лежавшей в подвале без еды, еще и с таким внуком…

Тот давний, почти забытый мною случай всплыл в памяти только сейчас.

## Вторая половина октября

Мы не могли еще задумываться над происходящим, просто смотрели на опустевшие улицы. Изредка мелькали и исчезали силуэты людей. Затем стали появляться румынские солдаты с винтовками. Вначале их были немного и ходили они группками по несколько человек, иногда с офицерами, одетыми значительно лучше солдат. Вместо обмоток офицеры носили брюки с ботинками, на голове — красиво изогнутые фуражки с большими кокардами.

Постепенно румын становилось больше, настроение их поднималось. Иногда они пели хором придуманную ими и переведенную на русский язык песню:

Сталин плачет в Москова,

Что Одесса нам сдана!

Мелодия песни была похожа на молдавскую.

Вскоре количество румын увеличилось настолько, что они стали ходить строем и их казармы стали занимать целые дома, расположенные по соседству, ближе к морю. В нашем дворе, в помещении швейной фабрики тоже разместились солдаты.

Каждое утро они строем выходили на Пушкинскую и в сопровождении оркестра маршировали к Горсовету, а мы их сопровождали по левой стороне.

Впереди ехал старший офицер на коне, а рядом колонну сопровождали верхом менее значимые офицеры, но вид у всех был очень важный. Возле мэрии солдаты выстраивались в торжественную колонну, оркестр играл румынский гимн, офицер на коне отдавал честь и рапортовал с обнаженной саблей какому-то начальнику, стоявшему недалеко от центрального входа. Все это выглядело очень пышно и торжественно, и на нас, малолеток, производило впечатление.

Несколько позже солдаты стали делать обходы жилых помещений и отбирать понравившиеся им вещи у жильцов. Обычно никто не возражал против их действий. Одесситы были к этому подготовлены. Что они могли противопоставить действиям власти?

Затем грабежи прекратились, солдаты перестали обходить квартиры. Среди жильцов были разговоры, что им запретили это делать.

Первоначально румыны планировали разместить свой штаб на Маразлиевской, в здании НКВД. В первые же дни оккупации они стали там располагаться.

Здание было заранее заминировано нашими чекистами совместно с саперами. Крупнейшая партизанская операция по взрыву этого здания, в котором находились более полусотни высших румынских офицеров и сотни солдат, произошла через неделю после начала оккупации.

За этот террористический акт одесситы поплатились жизнями более, чем 20 000 ни в чем не повинных жителей города. За каждого убитого офицера расстреляли 200 жителей-заложников, а за солдата — 100. После этого, партизаны не рисковали убивать румынских солдат и офицеров. Долго проводились облавы и расстрелы…

Электроэнергия подавалась нечасто, но бесплатно. Когда света не было, зажигали керосиновые лампы или свечи. Те, у кого и этого не было, сидели в темноте. Такие неудобства на голодный желудок мало кого беспокоили.

При наступлении комендантского часа на темных улицах солдаты переставали петь о горевавшем в Москве Сталине и изредка постреливали от страха, а может чтобы попугать. Папа в темноте курил махорку, и огонек самокрутки светился ночью всегда, когда я просыпался.

По утрам румыны поднимали такой галдеж, что просыпались все соседи. Потом солдаты строились и выходили к штабу, который размещался на улице Жуковского, в № 15, где возле входа во двор стояли один или два румынских солдата с винтовками.

От самого подъезда двор напоминал муравейник, в котором вместо насекомых копошились румынские солдаты. Здесь они вели себя так, как будто находились в какой-то усадьбе в Румынии: кричали, свистели, пели и шутили. Они больше походили на подростков, чем на солдат.

Очевидно, многим румынам казалось, что они приехали в Одессу поиграть в войну. По правилам этой забавы можно было стрелять не из игрушечных, а из настоящих винтовок, весело убивая евреев и коммунистов.

Те, кто с детства любил животных, играли с лошадьми, обмывали и расчесывали их гривы и хвосты, ласкались к их мордам. Я смотрел на красивых коней, с достоинством принимавших заботу солдат — они как будто понимали, что во время парадов возят на себе героических воинов.

Когда из помещения штаба через подъезд выходил какой-то офицер, звучала громкая команда, солдаты вытягивались в струнку, и во дворе становилось так же тихо, как и на улице. Офицер громко произносил что-то, понятное солдатам, и гомон возобновлялся. Нам с Ленькой нравилась такая компания: у румын было веселее, чем на безлюдной улице. Да и солдаты во дворе выглядели добродушнее, чем в городе.

Жильцы этого дома проходили мимо них свободно. Мы тоже. Иногда мы приходили тогда, когда они выстраивались для торжественного марша. Лошадей держали под уздцы солдаты, а те гордо ожидали своих седоков. Тогда кто-то из солдат намекал нам и другим пацанам, поддав нам под зад, чтобы мы убирались со двора. Далеко от ворот мы не отбегали, боялись пропустить самое интересное.

Солдаты выстраивались для парада по Пушкинской — их было столько, что мы думали о том, когда же они выйдут из двора все. Часовые всегда оставались на своих постах возле двора и в конце подъезда. Был в строю и большой духовой оркестр, который шагал впереди солдат и играл после их выхода из двора до бульвара Фельдмана (как его тогда называли), то есть Приморского бульвара.

Однажды румыны арестовали всех мужчин нашего дома, наверное, и других домов тоже. Мама взяла меня с собой, и мы пошли передать еду отцу в здание, расположенное на Греческой, напротив теперешнего отделения милиции на углу Красного переулка. Женщин и детей там было очень много, а за решеткой я увидел бледное лицо папы среди других мужчин.

Передачу не приняли, но в таком хаосе отец все равно ничего бы не получил. Через день папу выпустили, как и большинство арестованных. Возможно, они искали евреев или коммунистов, а может, просто хотели запугать население. Нас, детей, оккупанты не замечали, и мы свободно бегали вблизи своего дома, играли в свои игры без игрушек и даже не знали, что таковые могут существовать. Однако и обделенными себя не чувствовали, не ведая, что может быть иначе.

Ни о каких игрушках ни я, ни Ленька не знали и до войны. Мой отец занимал на канатном заводе должность начальника планового отдела, но он не имел возможности покупать мне игрушки, хотя совсем не пил спиртного. Мама до войны работала инженером на консервном заводе им. Ленина, и ее зарплата тоже не давала родителям возможности жить лучше.

Да и зачем мне игрушки?

Мама нервничала, пока папа был под арестом. Мне было жалко их обоих, а когда отец вернулся, случился праздник, какого я не знал раньше. Не было праздничного стола, не было вина, но было что-то такое, чего невозможно объяснить. Всей душой ощущалась радость…

А я подумал: румыны такие хорошие и добрые — отпустили папу. Вскоре я запутался в своих мыслях, потому, что пришлось увидеть много такого, чего я не ожидал…

Из разговоров взрослых соседей и родителей я понял, что каких-то евреев вешают и расстреливают, но для меня это были пустые слова, лишенные смысла. Видел позже и сам повешенных и расстрелянных — это были почерневшие трупы. Обходили мы их с Ленькой стороной без всякого любопытства. Они нам не могли ничего сказать…

Значительно позже я задумался: «о чем могли думать одесские евреи, добровольно отправляющиеся в гетто?» Оставаться в своих квартирах становилось равносильно самоубийству, это я видел. Куда можно уходить в полупустом городе? Оставалась у людей надежда, что в гетто у них есть какой-то шанс. Хуже смерти ничего не будет, нужно идти. И шли…

Оказавшись в садике между Матросским и Ольгиевским спусками, многие могли пожалеть о своем выборе, которого не было… Этот садик такой же грустный, как и парк Ильича, когда-то бывший кладбищем.

## Румынские солдаты

Все, что происходило тогда, для меня не было загадочным, поэтому и не особо запомнилось. Событие, ставшее отправной точкой моего мироощущения произошло внезапно, прозаично, буднично и от этого еще более страшно. В солнечную погоду я играл в куче песка, неизвестно кем и для чего припасенным во дворе. Вдруг откуда-то сверху раздался громкий крик.

На освещенном ярким солнцем балконе четвертого этажа двое румынских солдат деловито-спокойно, за руки и за ноги раскачивали жившего наверху парализованного соседа, еврея. Он, разумеется, понимал, для чего его раскачивают, и кричал так, как могут кричать только обреченные. Из немногочисленных жильцов, оставшихся в доме, окна которых выходили во двор, никто даже не выглянул. Я четко это помню, потому что осмотрел все окна двора и пошел по направлению к подъезду, над которым располагался балкон.

Надо мной взвилось кричащее тело, оно летело, размахивая руками, животом вниз. Затем человек ударился о землю недалеко от меня — звук был такой, как будто что-то лопнуло во всем его теле. Крик прекратился сразу, конвульсии сотрясали упавшего старика, а из глаз, носа и рта текла кровь. Я постоял некоторое время рядом с умершим, еще не понимая, что произошло, но нутром ощутив тревогу. Вернулся опять к куче песка.

Мне почему-то расхотелось играть. Было ощущение, что лежащий сзади инвалид чего-то просит. Я вернулся к нему — он лежал тихо и смотрел на меня окровавленными глазами. Мне стало жутко, и я побежал домой. Рассказал о случившемся папе. Он меня успокоил, напоил водой. «Ты сейчас ничему не удивляйся, все может быть». Папа погладил меня по голове, и мне стало спокойно.

Какими были последние минуты парализованного старого еврея, испуганно сидевшего в коляске на балкончике своей комнаты на четвертом этаже? Он не был один в большой угловой комнате, когда румынские солдаты обходили коммунальные квартиры в поисках коммунистов и евреев. Его родственники засуетились, услышав крики в парадной, потом раздался грохот открываемой входной двери. Дети успели выкатить старика на балкон и подчиняясь тревожному стуку прикладов открыли дверь комнаты.

Затем события развивались просто: румынам не составляло труда определить, что они нашли большую еврейскую семью. Солдаты привычно выгнали жильцов из комнаты и коридора, и по широкой мраморной лестнице повели их вниз, подгоняя прикладами…

По этой красивой лестнице еще совсем недавно жители, независимо от национальности, спокойно поднимались и спускались, весело шутили с соседями, встречая их на площадках. Иногда ругались. Теперь их гнали в неизвестность, и они переживали за своего деда. Кто его накормит? Кто будет за ним ухаживать?

Женщины плакали, дети испуганно суетились у них под ногами. Двое здоровенных, деревенского вида румын, совсем недавно призванных в королевскую армию, остались в квартире. Им еще не доводилось смотреть с такой высоты вниз, на вымощенную квадратными гранитными плитами землю. Один из них вышел на балкон и неловко зацепился за коляску. Старик, сидевший в ней уставился на него испуганными глазами.

— Здесь спрятался старый жид! — радостно окликнул он своего напарника.

— Гони его вниз, к остальным! — отозвалось в гулком коридоре.

— Он парализованный, иди сюда…

Старик не понимал по-румынски, хотя и чувствовал, что перекликаются солдаты о нем. Может быть, они не знают, как доставить его в больницу? Старик напрягся, его пугала неизвестность. Тут на балкон вышел второй румын, и весело предложил:

— Не будем с ним возиться, сбросим с балкона! Так будет быстрее!

Оба засмеялись: еще никто из их товарищей не сбрасывал жидов с четвертого этажа! Подняли перепуганного еврея из коляски, один уцепился крепкими крестьянскими пальцами за запястья, второй — за ноги. Старик понял, для чего его так ухватили, когда его стали мягко раскачивать, так, как раскачивают детей в морской воде… Он громко закричал, и этот крик отвлек меня от игры в песке…

О чем думал паралитик, летящий со своего балкона к быстро приближающимся гранитным плитам нашего двора? Наверное, он с ужасом смотрел на бегущего к месту его падения ребенка, который, задрав голову, смотрел на летящего деда ничего не понимающим взглядом. Мальчик запомнил этого старика на всю жизнь…

О чем думали молодые веселые румынские солдаты, наблюдавшие сверху за полетом кричащего старика-еврея? Позже советские и иностранные историки говорили: война есть война… Она без жертв не бывает. Войны бывают справедливыми и несправедливыми. Это всё теория.

А на практике еще одна вселенная разбилась о гранитные плиты двора на улице Жуковского.

Вскоре после этого случая румыны организовали под этим балконом солдатскую столовую. Рядом со входом соорудили длинную скамейку и каждый день к обеду моя тяжело больная бабушка Пелагея сажала меня не нее рядом с собой, и мы ждали, когда поедят румынские солдаты.

Они уходили, и тогда дежурный по столовой показывал нам куда сесть, наливал в солдатские миски борщ, давал мамалыгу, компот или чай. Все это было очень хорошо приготовлено — вкус мамалыги и борща я запомнил навсегда. И если борщ у меня сейчас иногда получается, то мамалыга, сколько я ни пробовал приготовить, не шла ни в какое сравнение с тем вкусом из детства. Видимо, для того, чтобы ее так приготовить, нужно быть румыном или молдаванином.

Мы с бабушкой Пелагеей каждый день сидели на скамейке, слушая всасывающие и хлюпающие звуки при приеме горячего борща и чавканье солдат при потреблении мамалыги. Ждали, когда поедят румыны и по команде встанут. Они выходили из-за столов, весело икая, перекидываясь шутками. Я нетерпеливо ожидал, когда они покинут столовую.

Дежурный солдат не успевал жестом разрешить нам пересесть со скамейки за освободившийся стол, как мы с бабушкой оказывались на месте с ложками в руках. Пока дневальный собирал алюминиевую посуду с других столов и протирал их тряпкой мы успевали съесть вкуснейший борщ вместе с мамалыгой.

Бабушка, вставая, всегда благодарила «деточку-румына», крестила его. Из столовой я выходил еще более веселым, чем солдаты, и она не знала, как меня успокоить. Румыны, находившиеся во дворе, смотрели на меня и смеялись. Они тоже были сыты, а потому — веселы.

Среди них случались разные люди, и офицеры, видимо, знали, кому из солдат можно поручить какую «работу». Были, как и в любой армии, любители вешать, расстреливать… Были и те, кто просто хотел жить. Таких обычно считают плохими солдатами — они не хотят становиться генералами. Их сложно отличить по внешнему виду от хороших. Румынские солдаты почему-то не хотели умирать на поле брани, но в дальнейшем пришлось.

## Бабушка Пелагея

Бабушка часто брала меня за руку и водила в церковь. При пересечении Александровского проспекта она о чем-то со мной разговаривала чтобы я не замечал повешенных евреев на деревьях. На улицах и в Соборе людей было мало. Бабушка долго о чем-то разговаривала с батюшкой, а я ходил по огромному залу и радовался красоте, не соответствующей угрюмому виду города.

Возле Успенского собора (тогда я его названия не знал) толпились нищие, грязные дети и оборванные старухи, по сравнению с которыми мы с бабушкой смотрелись состоятельными людьми. Они бросались нам под ноги, выпрашивая подаяние, но у нас не было никаких денег. Иногда Пелагея вынимала из «загашника» какие-то мелкие советские монетки чтобы купить свечку и поставить ее за умерших…

Мама знала о копеечных сбережениях бабушки, но на них не претендовала. Возможно, эти деньги пригодились для оплаты похорон Пелагеи осенью 1942 года…

После похорон мама нашла в ее пуховой подушке спрятанные «катеньки», которые были уже никому не нужны. Эти деньги она хранила со времени срочной продажи двухэтажного дома в ее родной станице Веселая, откуда она бежала с детьми от резни.

Однажды бабушка Пелагея, поясняя мне в очередной раз, чтоб я не говорил родителям об увиденном, забыла отвлечь меня от панорамы Александровского проспекта, где на деревьях висели мертвые люди, освещенные солнцем. В пустом садике качались в тишине евреи с табличками на шее и меня заинтересовало, зачем они нужны:

— Бабушка, а что это за дощечки? — я никогда не видел, чтобы люди носили на шеях такое украшение.

— Пошли, пошли, это тебе еще рано знать — поторопила меня старенькая Пелагея.

Бабушка в последние дни своей жизни ходила трудно и медленно. Когда мы возвращались из церкви, Пелагея говорила: «Не говори папе и маме, пусть они не знают, куда мы ходили». Я никогда ее не подводил. После этого мы обычно усаживались на скамейку возле румынской столовой и ждали обеденного времени.

Чтобы я никуда не убегал, она мне рассказывала сказки, интересные и смешные, про Царевну-Лягушку, Аленушку, Иванушку. Какими бывают лягушки, я не знал, о царевнах тоже осведомлен был мало. О Кощее Бессмертном догадывался — румыны могли в него стрелять, а ему, наверное, хоть бы что, разве ребро поцарапают…

Когда дежурный пускал нас сесть за стол, уговаривать меня не было необходимости, я ел до икоты. Пелагея крестила, как всегда, дежурного по столовой солдата, а мне говорила: «Не говори папе и маме, что мы кушали у румын». Я и эту просьбу бабушки исполнял, хотя мама, конечно, видела мой выпяченный живот. Она ласкалась к бабушке, как будто ничего не понимала…

Бабушке было трудно подниматься на третий этаж и спускаться вниз, но через время она снова брала меня за руку и шла к школе. Там мы садились на тумбу возле входной лестницы, и Пелагея продолжала сказку о том, как гуси несли Аленушку, потому что без этого я убегал куда хотел и когда хотел…

Бабушка Пелагея меня очень любила, когда могла, старалась гулять со мной, но осенью 1942 года она умерла. Бог ей дал спокойную смерть, без мучений.

Ее положили на большой стол посреди комнаты, а мама с соседкой на кровати перебирали виноград для поминок, и я подсел к ним. Взял гронку и понес бабушке: «на, бабушка, съешь, не притворяйся». Эту смерть я перенес сложнее, чем то, что видел ранее.

Я хорошо запомнил похороны бабушки Пелагеи. Соседи помогли снести гроб с телом по лестнице нашей парадной на улицу, где ждала подвода с лошадью. Гроб положили на телегу, меня посадили рядом с извозчиком. Мои родители и соседи с несколькими старушками, знавшими бабушку, пошли сзади.

Медленно ехали по Ришельевской, потом по Водопроводной. Было тепло и солнечно. Въехали в центральные ворота Второго Христианского кладбища и остановились возле церкви. Взрослые мужчины внесли гроб в Храм.

Мои родители не были людьми верующими, однако бабушка веровала, и по ее последнему желанию похороны проходили согласно православному обряду. Потом гроб отнесли на руках к уже вырытой могиле. Когда его опускали вниз, одна из бабушкиных подруг поставила меня рядом и показала: «смотри, как твою бабушку глубоко закапывают».

Потом пошли обратно, по Водопроводной улице, зашли к каким-то маминым знакомым, где помянули бабушку Пелагею. Потом брели пешком домой и я услышал, как ребята, немного старше меня пели:

Антонеску дал приказ: всем румынам на Кавказ,

А румыны: «ласа, ласа», ла каруцэ ши ла каса

(«хорошо, хорошо, на телегу и домой»)

Улицы города были совершенно безлюдными. Я не помню, чтобы по ним ходили даже румынские патрули. Кто помог родителям в то трудное время организовать бабушкины похороны, я не знаю. Когда мама была жива, я не спросил, а потом… То, что похороны не обошлись дорого, понятно. Пелагею похоронили далеко от центральной аллеи, по тем временам — на окраине кладбища. Но ведь и скромными средствами родители не располагали.

Тогда могилы располагались не очень плотно. Недалеко от бабушки была похоронена румынская девочка, приехавшая с родителями. Многие румынские военные и предприниматели привозили с собой семьи в надежде остаться насовсем.

Родители не имели возможности держать нас возле себя и объяснять, куда можно ходить, а куда нельзя. После смерти бабушки Пелагеи, водившей меня за руку, я стал в возрасте четырех лет вполне самостоятельным. У нас с Ленькой не возникало мысли, что можно заблудиться в городе, на бульваре Фельдмана, например, и не найти обратной дороги к нашему дому. Ноги нас уводили от него и сами приводили, когда приходило время, о котором сигнализировало громкое урчание в пустом животе.

Мама находилась дома очень редко. Не всегда бывал дома и отец с сестрой, поэтому не помню семейных завтраков и обедов, но к вечеру папа обычно накрывал стол, на котором помещал разогретую на «буржуйке» сковородку с куском мамалыги, и ждал, пока мы с сестрой разделим ее по-братски. Все комнаты нашей коммунальной квартиры не закрывались на ключ. Мы знали, где живем, а в комнаты соседей не заходили, если нас не звали.

## «Что такое хорошо?»

В румынскую столовую я не догадался ходить, хотя, возможно, солдаты меня и продолжали бы кормить по старой привычке.

С этого времени мое питание стало таким же скудным, каким оно было у моих сверстников и друзей, четырех — шестилетних одесситов.

Мы были постоянно голодны, но почему-то веселы. Как тогда говорили — жизнерадостные рахиты. Сказать, что мы были худыми — не сказать ничего.

Как-то раз один из сверстников назвал меня головастиком, что мне показалось обидным, хотя я, наверное, так и выглядел. Сейчас трудно себе представить состояние матери и отца, видевших своих голодных детей и знавших, что ничего для них сделать не могут. В таком положении было большинство родителей-одесситов.

В той комнате, с балкона которой в начале оккупации выбросили инвалида, поселилась тетя Аня с мужем Гришей. Они были бездетными. Дядя Гриша до войны работал где-то охранником, а тетя Аня обстирывала соседей, что-то перепродавала — это была обычная одесская семья.

При румынах охранять стало нечего, те сами знали, что охранять, а что разворовывать. Тетя Аня умудрилась-таки найти клиентов. Она несла большую стопку вещей, и я видел со стороны двора, как легко она перенесла их через окно черного хода на крышу бывшей фабрики. Соседка по довоенной привычке «сохнула» белье на крыше.

Я побежал по черному ходу к окну четвертого этажа. Встал на раму и перепрыгнул на крышу. Погрелся на солнышке, и пришла мысль, что пора домой. Подошел к краю крыши, но прыгнуть наискосок в окно не решился. Посмотрел вниз — там ходят маленькие румынские солдаты — падать на них страшно. Недалеко пожарная лестница, но там проемы длиннее моих ног. В голову ничего не приходит. Тетя Аня в окно увидела мое замешательство. Подошла к черному ходу, позвала меня. Я, радостно завизжав, подошел к краю крыши.

— На руку, и хорошо за нее держись! — скомандовала она.

Я уцепился за теплые пальцы и легко перебрался на черный ход.

— Будешь еще сюда ходить? — спросила тетя Аня.

— Не-е-е!

Такое знакомство с высотой мне не понравилось.

Почти все взрослые не имели возможности прокормить своих детей, стариков, да и самих себя. Мы знали, что дома чаще всего съестного ничего нет, а потому и не просили еды. Соседские дети объединялись и группами бегали по подвалам, лазили по деревьям и набивали животы всем, что цвело и плодоносило.

Мы знали, что скоро начнет цвести акация, потом поспеет шелковица, осенью появятся ягоды железняка и просиживали часами на этих деревьях, поедая «урожай». Любая болезнь, будь ты взрослым или ребенком, тогда означала смертельную опасность. Никаких медикаментов или медицинской помощи просто не было и быть не могло. Однако отравлений мы боялись меньше, чем голода.

Рядом с нашим домом, перед подъездом следующего, 21-го двора, располагался с довоенных времен винный склад с выходом на улицу. Почти ежедневно ранним утром румынские солдаты с грохотом поднимали гофрированную штору, закрывавшую его входную дверь. В утренней тишине слышно было, как постукивают пустые фляжки, канистры и котелки, и как нетерпеливо топчутся солдаты в очереди, которую устанавливал шустрый офицерик.

Обычно сперва подъезжала штабная каруца, на нее сразу грузили бочку с вином. Штабные солдаты ее грузили, они же ее гордо охраняли. Затем офицер запускал в склады по несколько человек. Он знал каждого из них, и для кого они получают суточный запас. Относился он к солдатам по-разному — одним старался угодить, других почти не замечал, а третьих презрительно перемещал в самый конец очереди…

Солдаты, входя в складские помещения, выбрасывали на тротуар окурки сигарет и с веселым настроением вбегали поднимать боевой дух. Поднимали они его, видимо, раньше, чем заполняли свои емкости. Одухотворенные и обвешанные заполненной тарой, они появлялись на выходе через несколько минут, а в помещение запускались следующие…

Из этого источника снабжались не только румынские военные и их семьи, но и женщины, которых они посещали… Обычно заправка горючим продолжалась недолго. Солдаты возле складов не задерживались и весело расходились по местам дислокации своих офицеров и их любовниц, почти твердо шагая по булыжным мостовым города. Затем опять громыхала железная штора, и шустрый офицер колдовал над замком, вихляя задранным кверху задом.

Румыны думали, что вина хватит на все время оккупации Одессы. Они ошиблись, его было значительно больше…

Перед тем, как немцы вошли в город, румыны стали выкатывать бочки с вином на булыжную мостовую. Предварительно они выбивали пробки из бочек и толкали их вниз по мостовой, затем бочки катились сами. Вино из них лилось рекой.

Редкие прохожие могли его пить, никто не запрещал. Соседи брали бутылки, ведра, наполняли их и несли домой. Мы с Ленькой принесли какие-то банки, смотрели как пьют вино взрослые и пили сами. Вино было хорошее, приятно-кисловатое, красное, в общем, нам нравилось. Меры мы не знали (не получили должного воспитания) и я плохо помню, как очутился дома. То же произошло и с моим «собутыльником» Ленькой. Склад был большой, вереница бочек катилась вниз по улице и на следующий день. Так мы впервые попробовали вина.

Через несколько дней вино принесло несчастье жильцам дома, в котором находились склады. Среди тех, кто сообразил принести домой несколько ведер вина были жильцы крайней слева квартиры второго этажа этого двора. Они пригласили своих друзей и устроили попойку на балконе, расположенном недалеко от угла. Через некоторое время к ним присоединились и соседи, принесшие с собой какую-то закуску. В итоге, старенькие ржавые крепления не выдержали. Двор находился рядом с нашим, и я был недалеко от ворот в тот момент.

Раздались громкие крики. Взрослые одесситы и одесситки побежали во двор № 21, я за ними. Людей было немного, но прибежавшие хотели как-то помочь: стали разбирать доски, оттягивать перила балкона. Оставшиеся в живых кричали и стонали. Из-под обломков вытащили, наверное, семерых или восьмерых. Их положили недалеко от места падения. Медицинских работников среди прибежавших соседей не было, квалифицированную помощь оказать никто не мог. Люди рвали на пострадавших одежду, пробовали как-то перевязать поломанные конечности. Боль пострадавших я не воспринимал, просто наблюдал. Потом кто-то взял меня за руку и повел домой.

Иногда партизаны убивали румын. Была ли польза от таких действий? После каждого случая происходили облавы, и за каждого убитого оккупанты казнили до ста человек.

В течение первых месяцев оккупации города румыны вели себя не очень активно, и убивать их из-за угла не было смысла. Судьба страны не зависела от таких комариных укусов подпольщиков. На полях сражений погибали сотни тысяч оккупантов и еще больше — наших солдат.

Вспоминаю слово «облава», которое произносилось почти привычно родителями, сестрой, соседями. Никто не знал, кого румыны отпустят, а кого повесят или расстреляют. Люди испытывали временные неудобства при повешении, которые скоро заканчивались, а те, кого расстреливали, иногда не успевали даже испугаться…

Когда слыхал от приехавших из эвакуации о том, что нам при румынах было хорошо, вспоминаю радость одесситов, которые при освобождении города вели себя, как маленькие дети, которых мама прижимает к груди, а в это время медсестра всаживает ребенку в попку прививку. Ребенок не понимает, за что его больно укололи, и удивленно смотрит на маму.

Как сравнить, когда одесситам было лучше? Во время оккупации жители не говорили о людоедстве. После освобождения подобные слухи распространялись. Была ли это вражеская пропаганда, или слухи имели основания, трудно сказать. Но голодать мы стали жестче, чем при румынах.

От оккупантов никто ничего хорошего не ожидал. Никого они не кормили и не собирались этого делать, но и не запрещали спекуляцию, воровство, проституцию. Предприимчивые люди открывали магазины, рестораны, бордели, и им, пожалуй, было неплохо. Те, кто не нарушал румынские оккупационные законы, имели шанс пережить эти три года, но после освобождения часто завидовали мертвым на протяжении десятилетий.

Никогда в центре города нам не приходилось видеть румынских танков или автомобилей. Когда в скверике на Молдаванке установили танкетку «На испуг», то было удивительно, как такое «чудо техники» могло воевать во время обороны Одессы. Впрочем, в глазах румын, вооруженных винтовками, такая наша техника была, наверное, очень грозной и гремучей…

По поведению оккупантов в городе, было не похоже, что среди солдат нашлись бы герои, мечтавшие бросаться под наши танкетки. В большинстве своем румыны были обычными мародерами, ценившими свою жизнь высоко.

Почему — то данные о потерях румынских войск при взятии Одессы и освобождении города никогда не публиковались.

Для Леньки я был непререкаемым авторитетом, и он ходил за мной всюду, никогда не спрашивая, куда и зачем идем. Я вел его на море, дорогу я освоил через парк Шевченко. Мама брала меня с собой, когда ходила стирать носильные вещи (мыла дома не было, а других стиральных средств не могло быть тем более).

На массиве возле «дотика» мы располагались на горячих камнях, как и редкие другие «курортники». Мимо нас ходили ребята старшего возраста, носили чайники, завернутые в белые мокрые полотенца, в которых была вода с кусочками льда, неизвестно откуда взятыми. Эти загорелые мальчишки пели невеселыми голосами песню:

Есть вода, холодная вода

Кому напиться, прохладиться…

Есть вода, холодная вода

Пейте воду, воду, господа…

Чтобы покупаться мы перемещались вправо, к Ланжерону, на мелководье, где был очень чистый песок. Несколько лет на нем почти никто не лежал и море его очистило до идеального состояния. А такие курортники, как мы, не могли его загрязнить в силу отсутствия продуктов, а, следовательно, и отходов от них.

Разница в состоянии песка появилась значительно позже, после освобождения, когда приехавшие из эвакуации одесситы, соскучившись по морю, стали располагаться на пляже семьями, и как восточные народности на коврах раскладывали еду и выпивку вокруг себя. Во время пиршеств, не отходя от места «отдыха», тут же закапывали куриные кости, кукурузные и яблочные кочаны, окурки в песок. Бегать по пляжу стало опасно, и вообще он стал напоминать мусорную яму, посыпанную песком, но никто и никогда на такое его состояние внимания не обращал.

А тогда мы с Ленькой лежали на идеально чистом песке, но питание наше оставляло желать лучшего, и мы были очень худыми. Как-то проходили мимо нас два пацана, старше нас, и один говорит другому: «посмотри на этих скелетов».

Хотя не одни мы были такими «упитанными», мне это показалось обидным, и я стал обращать внимание на «толстых и тонких». Однажды мы лежали на массиве недалеко от компании, состоявшей из мужчины лет тридцати «с животиком» и нескольких женщин, лет по двадцать-двадцать пять. Мужчина громко рассказывал, что, когда он был молодым, то был очень худым, как они — кивнул он в нашу сторону, и очень от этого страдал.

«А теперь я стал таким, как вы меня видите». Женщины кокетливо рассмеялись, и рассказчик самодовольно усмехнулся. А я подумал: «Врет, наверное».

Мама Леньки, тетя Дозя от природы была очень веселой и ее настроение мало зависело от обстоятельств. Она любила с нами шутить и обучала нас, четырех-пятилетних малышей, таким поучительным песням:

Мишка, мишка, медведь,

Научи меня пердеть,

Если не научишь, —

В морду получишь

Наш желудок тогда не всегда был полным, поэтому мишка нас обучал слабо, но видимо, пробовал, чтобы в морду не получить.

Тетя Доза никуда не ездила, ничего не продавала, но каким-то образом умудрялась, вместе с мужем Иваном, кормить сына, Леньку. Впроголодь, но все-таки… Когда Ленька просил еду, которой дома не было, она говорила: «Подожди, а то икать начнешь».

Ленька еще не знал, что можно наесться до икоты. Часто тетя Дозя, видимо с голодухи, устраивала в своей комнате визгливые скандалы. Дядя Ваня после оккупации сбежал от нее куда-то на Молдаванку…

Как-то в своем стремлении к освоению пространства мы с Ленькой добрались до чердака нашего дома и в глубоком закоулке возле входа нашли огромный ящик, который сдвинуть своими силами не смогли, но поломать сумели. Стали вынимать содержимое — хорошо упакованные скальпели, пинцеты, шприцы, иглы к ним и многое другое, свидетельствующее о том, что хозяин ящика — врач. Затем достали отдельный ящик, в котором была упакована большая хрустальная люстра.

Фрагменты этой люстры мы стали сбрасывать с крыши на гранитную мостовую. Эффект был поразительный — хрусталики разбивались в пыль и появлялась радуга, шарообразная и очень яркая. Наблюдать такую красоту одним нам показалось непозволительной роскошью. Мы позвали Витьку (Беню) и Толика (Тита) и стали бросать хрусталики вчетвером. То, что зрелище оказалось красивым, слов нет, но цена такого представления была безусловно, неоправданно высокой. Впрочем, в те дни и человеческая жизнь не стоила ничего.

Многие сараи были взломаны до нашего в них проникновения. Там мы находили упаковки значков «Ворошиловский стрелок», зажимов для пионерских галстуков, никелированные пожарные каски с гребешками сверху и еще много такого, что в то время было никому не нужным хламом.

Бани в городе не работали. Румынские солдаты строем ходили купаться в баню Исаковича, работавшую круглосуточно, а местное население туда не пускали. Все одесситы мылись дома в мисках и корытах. Воду нагревали на примусах или печках, которые устанавливали ближе к окнам, туда же выводя дымовую трубу. Такая «буржуйка», как ее называли, была и в нашей комнате.

Летом купались в море, в нем же стирали одежду. Позже появилось жидкое мыло в банках, но оно было очень дорогим для нашей семьи и расходовать его следовало очень бережно. Позже взрослые говорили между собой, что это мыло было получено из концлагерей, в которых его вырабатывали из человеческого жира, что вполне могло быть правдой.

Когда пришли румыны, одесситам, оставшимся в городе, нужно было доказывать, что в их жилах не течет еврейская кровь, даже если они четко выговаривали весь алфавит. Часто мешал нос, мешали глаза, и то, что обрезал раввин.

## 1942 год

В дальнейшем люди стали, кто как мог, приспосабливаться, но в первый год оккупации очень много взрослых и детей не выжили, и не только потому, что их вешали и расстреливали, но и от голода.

Люди, оказавшиеся в занятом врагом городе, были никому не нужны. О них никто не собрался даже думать. Когда уходили наши войска, магазины и продовольственные склады были разграблены или уничтожены. По законам военного времени, это, возможно, и правильно.

Всё, что осталось ценного, румыны прибрали к рукам и отправили домой вместе с металлом и всем, что можно было вывезти, включая одесский трамвай. И они тоже поступили правильно — по законам военного времени. Коммерсанты все же появились.

То, что стали продавать предприимчивые люди, можно были купить на румынские леи или немецкие оккупационные марки, которых у одесситов не было и быть не могло. Конечно, Одесса — торговый город, но начинать с ничего мало кто мог, а из тех, кто мог, большинство еще до войны были отправлено за спекуляцию в места «не столь отдаленные».

Оставшиеся после захвата города люди были преимущественно инвалидами, стариками, женщинами и детьми. В лучшем случае они умели только честно работать, но это мало кому было нужно. Чтобы как-то выжить, люди стали ездить в поездах по селам. Там, где наши отступающие войска и наступающие захватчики не все отняли или уничтожили, у крестьян что-то оставалось.

Румыны, конечно, думали, что они пришли навсегда и не доводили сельских жителей до состояния голодомора, считая их в дальнейшем своей рабочей силой, еще и организованной в колхозы.

Оставшиеся в оккупации крестьяне оказались в более терпимых условиях и могли себе позволить обменивать продовольствие на «городскую» одежду, которую им привозили в деревни сами жители больших и малых городов. Конечно, и на селе было не до жиру, но все же лучше, чем в городе.

Обязанности жильцов коммунальных квартир остались теми же, что и при советской власти — соседи так же убирали места общего пользования и «калидоры». Шумные скандалы прекратились, никто не пробовал никого выводить «на чистую воду».

Молодые одесситки, погуливавшие с оккупантами, пользовались их покровительством, — против власти не попрешь. Во время веселых оргий они пели песни, которые сами сочиняли на мотив молдавской танцевальной мелодии:

Мамалыга — попушой —

У румына х… большой…

Если до войны некоторые жильцы писали анонимки, а иногда и целые письменные доклады в НКВД, то теперь не стало в доме «коммунистов — хороших чекистов», и стучать стало некому и некуда. Наверное, поэтому, после освобождения города повсеместно зазвучало: «вам при румынах жилось хорошо!»

Никого не интересовало, кто как выживает, и никто не оправдывался перед соседями, с каких средств он варит борщ.

В наилучшем положении оказались пацаны в возрасте от десяти до пятнадцати лет. Их румыны считали детьми, а они уже были одесситами с головой на плечах. Проникали в порт, в пустующие квартиры, сараи, знали, куда и что можно приспособить. Все, что происходило в городе, списывалось на партизан, а не на малолетних мародеров и бандитов. Такой подход к ребятам был выгоден и партизанам, и оккупантам.

Эти пацаны не боялись смерти, не знали, как живется калекам, и не желали голодать. После освобождения Одессы в основном из них организовывались банды, подобные «Черной кошке». И позже, в советских лагерях, они не были «черной кастой».

Челночные поездки при румынах часто заканчивались трагически для одесситок, но выхода не было. Крестьяне продуктов в город не везли, им рисковать не было необходимости.

Челноки того периода, наши мамы, мелкие спекулянтки, а точнее, нищие одесситки, продающие последние носильные вещи из дома, привозили каждый раз немного продуктов. Это было основное питание их семей. Маме везло: не было случая, чтобы у нее отобрали вещи или еду румыны или бандиты.

Появлялась она дома после дорожных переживаний веселой, потому что удавалось привести продукты своей семье. Других причин для веселья не было. По рассказам челноков, румыны в деревнях не свирепствовали, может быть, потому, что там не оставалось евреев и коммунистов, а убивать безобидных крестьян и женщин у них приказа не было. Мамы, сохранившие наши жизни во время оккупации, даже не думали о том, что совершают каждодневный подвиг.

Однажды в вагон, в котором мать ехала в Василиновку (так я запомнил с ее рассказа) вошел высокий мужчина в макинтоше. Вдруг из-под полы его плаща высыпались листовки с призывом бороться с оккупантами. Листовки расхватали все, кто ехал в вагоне, в том числе и мама.

В Василиновке она остановилась у одной из знакомых жительниц села. Обменяв одежду на еду, она раздала листовки крестьянам. Перед обратной дорогой прилегла отдохнуть, однако уехать не успела, ее арестовали. Мама долго рассказывала сельским полицаям, что она безграмотная, отдала бумагу на раскурку, не подозревая о содержании листовок. Ее отпустили, но запретили впредь появляться в Василиновке. Пришлось изменить маршрут поездок.

В одной из следующих ходок ей удалось поменять одежду на хлеб, и мама стала ждать поезда на Одессу вместе с такими же одесситами. Рядом с ними румынские солдаты охраняли большую группу цыган. Каким-то образом ромалэ поняли, что везут их в последнюю дорогу. Одна из молодых цыганок прорвалась к маме, держа в руках патефон и несколько пластинок, и попросила кусок хлеба за все. Рассказала, какой это хороший патефон и какие это хорошие пластинки. Мама дала ей хлеба, и полученное цыганское имущество привезла домой вместе с продуктами. Женщина не унижалась и ни о чем не умоляла. Она просто предлагала сделку. Цыганка хотела в последний раз покормить своих детей. Она не обманула, пластинки действительно были хороши. Я их слушал почти всю оккупацию, пока пружина патефона не лопнула. Среди записей были «Ту балвал» Ляли Черной, «Есть на Волге утес», цыганские песни и романсы, названий которых уже не помню.

Слушал я рассказ мамы о цыганах, и никак не мог понять, почему они не убегали. Казались они мне глупыми, особенно когда я наедался. Тогда мне становилось весело, но сестра охлаждала мой пыл: «Рад, дурак, что ума мало». Обидно такое было слушать. Мы с Ленькой свободно проходили рядом с румынскими солдатами возле их штаба, а цыгане не могли. Так у кого ума мало?

Несколько раз во время оккупации мама привозила из деревни по несколько штук баклажанов и помидор. В комнате на примусе она клала «синие» на жестянку, открывала окно настежь, и жарила их. Запах был необыкновенный, мама священнодействовала. Когда «синие» начинали пощелкивать, почти так, как по вечерам стреляли где-то в городе румыны, мама выключала примус. Потом она их разделывала, рубила секачкой вместе с помидорами и луком. Намазывала на тоненькие ломтики хлеба или на кусочки мамалыги очень тонким слоем. Оставшуюся икру складывала в стеклянную банку, присаливала сверху. Ели мы ее таким образом неделю, а то и больше. Банка стояла в мисочке с водой, чтобы не портилась. Каждый день после отбора нескольких ложечек к обеду, мама подсаливала то, что оставалось.

Икра всем нам так нравилась, что примерно этим же способом я ее готовил позже сам, но ели мы ее совсем по-другому… Конечно, после голодовки 1947 года…

Приходилось мне встречаться с людьми, пережившими румынскую оккупацию в деревнях одесской области. Они не знали голода до освобождения их сел от захватчиков. В дальнейшем им пришлось затянуть пояса так же, как и одесситам. За зерно, подобранное на поле, судили по закону «о трех колосках», а тех, кто видел, как голодный колхозник ел его, и не побежал к участковому, судили по статье «знал — не сказал».

По деревням разводили, как поросят, Павликов Морозовых под различными фамилиями, а после ареста их родителей, судьба «павликов» никого не интересовала…

## Наши проблемы…

Те продукты, что привозила мама из сельской местности нам даже при большой экономии, хватало на считанные дни. Семья состояла из четырех человек. Заработки сестры на розничной торговле сигаретами не оказывали на рацион существенного влияния. Отец попробовал трудоустроиться в каких-то механических мастерских, расположенных тогда в районе железнодорожного переезда возле Второго Христианского кладбища. Иногда он брал меня с собой, а чтобы я не мешал ему во время работы, сажал меня в трактор, который там стоял, и я часами мог трогать рычаги и педали.

Запомнилось мне, как мы проходили мимо какого-то двора в теплый солнечный день. У ворот стоял детский педальный автомобиль. Такого я никогда не видел и бросился к нему. Папа остановил меня и долго объяснял, что это — чужая игрушка, и трогать ее нельзя. Мне трудно было в этом разобраться потому, что у меня никаких игрушек вообще никогда не было. До этого случая я безо всяких колебаний мог сесть в легковую машину или полуторку, которых в городе было много. Настоящие автомобили, сгоревшие, подорванные при отступлении советскими войсками, стояли возле тротуаров повсеместно, и их никто не убирал. Они никому не мешали — румыны ездили на каруцах, которых у них было мало, или ходили строем. В телеги запрягались какие-то захудалые лошади, наверное, отобранные у наших колхозов.

В один из пасмурных дней отец не пришел домой с работы. Мама забеспокоилась — после наступления комендантского часа не находила себе места в комнате до утра. Оканчивался комендантский час с рассветом, значительно раньше, чем начиналась работа предприятий и магазинов.

Мама одела меня, и мы пошли по совершенно пустой Ришельевской к вокзалу. Мама явно боялась и крепко прижимала мою руку. Тревога передалась мне, и я стал оглядываться, крутить головой, не понимая, чего именно нужно опасаться.

Транспорт не ходил, даже румынские каруцы не грохотали по булыжнику. Вдалеке пожилой биндюжник толкал свою тачку по направлению к вокзалу. Появились два румынских солдата с винтовками, возможно ночной патруль. Мама еще крепче сжала мою руку, и мы перешли на другую сторону. Возле вокзала валялись груды камней, у них собрались несколько человек, чего-то ожидавших. Железнодорожные пути были пустыми, и мама повела меня вдоль рельсов в сторону кладбища.

В районе канатного завода мама свернула к грязным, закопченным окнам здания, расположенного ниже железнодорожного полотна и постучала в одно из них. При этом она так озиралась по сторонам, что мне стало еще страшнее. К окну подошел папа и стал объяснять, как он увлекся разборкой какого-то механизма, и не заметил, что его запер хозяин мастерских после окончания рабочего дня. Отец сказал, чтобы мы уходили: если румыны обнаружат человека до открытия мастерских, то могут подумать, что он партизан. Домой папа с нами не пошел, вскоре должен был начаться рабочий день. Мы пошли назад к вокзалу. Навстречу шли румынские солдаты, но мама уже не озиралась, и ничего не боялась.

Вскоре папа лишился и этой работы потому, что в технике он не разбирался и грамотно слесарить не мог. Тогда он приобрел инструмент для ремонта обуви, купил деревянные гвозди на Староконном базаре (они были похожи на укороченные заостренные спички), и стал работать дома. При этом он использовал шило, рихтовочный молоток, и железную подставку, на которую надевал туфель или сапог. Кроме этого в работу шел резиновый клей — запах его всегда был смешан с махорочным дымом, которым в нашей комнате было пропитано все. Отказаться от курения папа не мог.

Помню, как он молча забивал деревянные гвозди в подошвы чьих-то ботинок, а мы с Ленькой стояли рядом. Он с нами не шутил, о чем-то спокойно думал.

В нашей комнате кроме старого шкафа, железной кровати с никелированными набалдашниками, старого облезлого зеркала, на подставке которого стояло семь мраморных слоников, большого стола и трех табуреток были еще светящиеся самолетные часы и большой круглый репродуктор. На это имущество даже румыны не позарились.

Солдаты не были к нам ни злыми, ни добрыми. Они просто выискивали, что бы им еще отправить в Румынию. У них я научился считать до пяти, возможно и больше, и знал, что дежурные по кухне нас с Пелагеей хорошо кормили, когда она была жива, и каждый день тогда это был другой румын. По вечерам через окно были слышны отдаленные выстрелы — дома никто не выяснял, кто в кого стрелял.

Иногда недалеко от нашего дома, на ул. Жуковского угол Екатерининской можно было видеть бабушку, продающую жареные семечки из маленькой торбочки. Дети приносили ей мелкие советские деньги. Она, наверное, уже мало что понимала и насыпала за эти монетки немного семечек. Дети считали, что они «надули» бабулю, хотя и сами не видели других денег.

Одинокие старушки доживали свой век в коммунальных квартирах в нищете, какую трудно себе представить. Они не знали, откуда ожидать помощи, и не имели ничего на продажу. Почти никто из них не дождался освобождения города и прихода с фронта детей и внуков. Нищета одесситов во время оккупации и после нее никого не удивляла.

## «Марфуша все хлопочет…»

Пришедшие в Одессу румынские власти, разрешили открытие ресторанов, магазинов, всевозможных пошивочных мастерских и других коммерческих заведений. Появились частные предприниматели, пытавшиеся начать свое дело. Их было немного. Небольшие продуктовые магазины открылись на центральных улицах города, но у населения денег и ценностей, которые можно было реализовать, было мало.

Начали работу закупочные центры по приему металлолома, где за румынские леи принимали медь, алюминий и другие металлы. Расторопные молодые ребята стали выискивать на взорванных предприятиях и в порту провода, медные электрические шины и прочий лом. Все это румынские коммерсанты отправляли на родину, видимо, с немалой выгодой.

Иногда и сейчас можно услышать разговоры о том, что при румынской оккупации Одессы жилось неплохо или даже хорошо. Это кому как. Так можно сказать о любой власти. Кому-то всегда бывает хорошо.

Моя сестра рассказывала маме о том, что при покупке сигарет в магазинчике увидела на стенке рядом портреты монарха Румынии Михая и Гитлера. По каким-то надобностям зашла старушка, посмотрела и сказала, показывая на портреты: «Це — дытына, як дитина». Показала на Гитлера — «А цэй — звир». Продавец поспешил ее выпроводить на улицу.

Сестра начинала свой «бизнес» с розничной продажи сигарет с лотка, подвешенного на шее. Нашей семье хвастать благополучием при оккупации не получалось.

Население города, оккупированного румынами, было привычно к страху, внушенному бандитами, а ранее — чекистами. Румынам запугивать людей не было необходимости. Когда стало известно, что оккупанты собираются убивать только коммунистов и евреев, никому не полегчало. Какой одессит может доказать, что в его жилах не течет хоть немножечко еврейской крови? Советский паспорт не признавался за документ. Румын смотрел в лицо, а у стариков оно всегда было очень выразительным…

Нас с Ленькой заподозрить в еврейском происхождении было сложно. Оба были худыми, как русские сказочные Кощеи, к тому же я был блондином, а из Леньки перло его молдавское происхождение и живость ума — ему бы еще бубен в руки…

Ленчик любил петь во все горло, голос у него был хорошо поставлен. Тогда я не знал, с чем его можно сравнить, и только после войны, услышав сирены скорой помощи и пожарной машины, я нашел достойный аналог. Румынам же его пение нравилось, иногда они даже просили его, и он исполнял им какую-нибудь «прима вару». Потом мы получали по кусочку мамалыги или сухаря.

Во дворе нас знали лучше, чем местных котов, а когда тех не стало, мы стали единственными, кого узнавали в лицо… Соседи долго не хотели показываться румынам на глаза. А мы шныряли во все дырки, в которые до того не залазили.

Ягоды железняка созревали осенью, и деревья были усеяны ими до зимних холодов. Днями малолетние пацаны сидели на ветках и жадно витаминизировались. Окна жильцов дома, выходившие на двор костела, были открыты все теплое время года.

Румынские солдаты облюбовали два окна, из которых выглядывали две симпатичные шатенки. Они запрыгивали туда как в свою казарму. Мы к этому привыкли, нам было не до них. Бывало любопытно, почему румыны, выскакивая оттуда, застегивают ширинки, как будто им сложно было помочиться до этого…

А осенние коричневые ягоды железняка были сладкими.

Из разговоров взрослых можно было понять, что румыны считают женщинами легкого поведения всех незамужних. Возможно, они имели в виду тех, кого до войны советская власть не успела «перевоспитать», но и среди них было немало «патриоток», заражавших оккупантов венерическими болезнями, выводя живую силу врага из строя не хуже партизан… Так я думаю.

Из довоенной жизни в памяти почти ничего не осталось. Радиоточка пела: «В красной рубашоночке, хорошенький такой…», «Полюшко — поле», «Эх, тачанка — ростовчанка…» Я бегал по нашей комнатке, коридору, освещенному солнечным светом, проникавшим через «фонарь» в крыше.

С началом оккупации в мое восприятие жизни города не изменилось, она стала сразу привычной со всеми ее сложностями. Предыдущий быт с суетой, беготней и болтовней соседей осталась в прошлом. Родители, как могли, нас опекали, но они и сами не знали, что будет завтра…

По привычке соседки с нами грустно шутили, а мы реагировали на любые шутки веселым смехом, чем веселили шутниц. Собиравшиеся в нашем дворе румыны были веселыми, играли в какие-то детские игры, смеялись неудержимо после обеда… Не все они были убийцами-любителями, каких очень ценят на войне и какие часто сходят с ума после нее. Иногда румыны подзывали нас с Ленькой, вынимали из кармана замусоленный сухарь и делили его пополам, чтобы никого не обидеть.

Отец часто брал меня с собой, когда ходил на Пушкинскую читать выставленные в специальные витрины газеты, выпускаемые румынскими властями. Из этой информации он умудрялся добывать для себя что-то интересное, а иногда говорил маме о том, что у немцев дела под Сталинградом складываются не в их пользу.

Потом обычно мы шли по Пушкинской к Театральному переулку, к дому № 12. В этом доме был ресторан «Норд», в нем выступал Петр Лещенко. Туда ходили предприниматели, быстро развернувшиеся на всевозможных сделках, а иногда и бандитизме, но далеко не все одесситы были удачливыми дельцами или налетчиками.

В этом же ресторане иногда собирались и наши подпольщики, и по рассказам жителей города, Петр Лещенко знал об этом, но по его вине никто из них не пострадал. Такого обвинения даже наша послевоенная пропаганда против него не выдвигала.

Расправились с певцом уже после войны в Румынии. О его судьбе рассказывала в одной из телепередач Алла Баянова и его жена Вера. Наши следственные и карательные органы объявляли шпионами своих бывших руководителей, таких как Берия, маршалов и генералов, но не решились обвинить в шпионаже и сотрудничестве с гестапо Петра Лещенко, открыто выступавшего в собственном театре-варьете значительный период румынской оккупации Одессы.

Петр Лещенко давал в оккупированной Одессе вечерние концерты в Русском театре. Ценители культуры часто проводили лекции и о менее значительных артистах, попавших в немилость к «великому вождю». В нашем городе почему-то о Петре Лещенко долго старались стыдливо помалкивать. Кто шепнул идеально слышавшему Сталину о необходимости убрать этого «врага народа», никогда не занимавшегося политикой, и тем более его жену? Возможно, когда-нибудь одесситы узнают правду, тщательно оберегаемую секретными архивами, о многоходовой игре вокруг Петра Лещенко. Кому было страшно неприятно слушать, как «Марфуша все хохочет»?

В дневное время Петр Лещенко пел в ресторане-варьете. Молодое поколение о том уже и не вспомнит…

Ресторан находился внутри двора в отдельном доме, а по его периметру на камнях и самодельных скамеечках сидели старушки, продававшие махорку и семечки. Папа усаживал меня на каменный забор справа от входа в ресторан, а сам ходил, выбирал себе махорку. Иногда мы приходили в то время, когда Петр Лещенко исполнял свои песни в сопровождении оркестра, и я слушал «Очи черные», «Чубчик», «Я тоскую по родине». Мне очень хотелось заглянуть внутрь, но папа запрещал мне слазить с забора. Потом он снимал меня, и мы шли домой мимо Оперного театра по Ришельевской.

Улицы были пустыми, прохожих можно было сосчитать по пальцам одной руки. Если по пути попадались убитые или повешенные, папа старался отвлечь меня какими-нибудь разговорами или рассказывал сказки, а в остальное время о чем-то думал.

В городе на табличках у повешенных что-то было написано, но любителей читать это не находилось. Как-то сестра пришла домой и сказала родителям:

— На Ришельевской сегодня убили партизана.

— Откуда ты знаешь, что это — партизан? — спросила мама.

— Так было написано на табличке.

— Написать можно что угодно, — сказала мама.

«А зачем тогда читать?» — подумал я.

Таблички с надписью «партизан» румыны цепляли на всех пойманных без специальных документов и убитых во время комендантского часа. Были среди них и партизаны, и обычные пацаны, искавшие еды и приключений на свою тощую задницу. Последних было значительное большинство…

Шныряющих по городу пацанов моего возраста и старше бегало немало, а девочек видно не было. Пожилые женщины, побывавшие в оккупации молодыми, потом ничего не могли рассказать о том периоде своей жизни в Одессе. Ничего удивительного в этом нет. Их родители правильно делали, что не выпускали девочек дальше порога своих комнат…

Позже я воспринимал то время как счастливое. У меня была полная родная семья, был жив мой отец, которого потом всю жизнь не хватало…

Дома папа смастерил самокат на трех подшипниках, и я катался на нем по нашему кварталу — дальше мне ездить не разрешалось.

Как-то мама приобрела немного молока, и папа варил его на примусе. Я стоял рядом и смотрел как это делается. Отец рассказал байку:

— Поставил цыган варить молоко, а когда оно сварилось и начало выкипать, он стал приговаривать: «дай боже молока побольше, побольше» — оно и убежало.

В нашей семье денег никогда не было. Того немногого, что зарабатывал папа, хватало ему на махорку и какие-то мелочи. Когда мы проходили по Ришельевской мимо магазинов, отец не обращал на них внимания, не хотел, наверное, смешить продавцов.

Мы с Ленькой вообще не знали, что такое деньги. Мама могла их тратить только на железнодорожные поездки. Что такое парикмахерская, я узнал только после войны, когда мама готовила меня в школу. До того она срезала мне челку ножницами как умела. Внешний вид нас беспокоил мало.

## Скажи «кукуруза»!

Среди взрослых пацанов в то время ходил анекдот:

Румын остановил «подозрительного» одессита и спрашивает у него документы. Документов нет.

Румын — Скажи: «кукуруза»

Одессит молчит.

Румын щелкает затвором: Скажи: «кукуруза»

Одессит: Пшенка, пшенка, лучше сто раз пшенка, чем один раз кукугуза!

Пацаны смеялись, а я не понимал, почему это смешно.

Почему убивают людей, я не знал, и таких вопросов никому не задавал. Это происходило в городе постоянно и казалось естественным делом.

Мы с Ленькой и Толиком Титом бегали по городу, нас никто не трогал, чувства боязни у нас не было — кому мы были нужны, голодранцы, кроме своих родителей?

Значительно позже, в шестидесятые, я работал с инженером связи Юрой Дистерговым, который был старше меня лет на восемь и хорошо помнил время оккупации. Как-то мы оказались в садике возле его дома, недалеко от Матросского спуска и остановки трамвая № 28. Юра рассказал мне, что в этом садике размещалось еврейское гетто, охраняемое румынскими солдатами. В городе работали радиоточки, и по ним евреям предлагалось явиться добровольно в этот садик. Они приходили, и было их много. Никто их продовольствием на снабжал. Охранники подкармливали узников в обмен на золотые вещи. Затем евреев куда-то увозили. Были там старики, дети, женщины. Затем набиралась следующая партия евреев, и все повторялась снова и снова.

Соседи по коммуне в нашем присутствии иногда говорили о продажности румынских солдат. За небольшие средства выкупались знакомые евреи из гетто, но это не означало, что через несколько кварталов их снова не арестуют.

Рассказывали случай, когда один молодой человек выменял у румына знакомую девушку на никелированный велосипед. После войны она стала его женой, и они прожили счастливую жизнь.

После освобождения города Юра и его друзья играли в этом садике в футбол и часто находили вдоль забора или возле деревьев золотые вещи, видимо принадлежавшие узникам гетто.

Тем, кто добровольно не являлся на сборный пункт, предстояла ничем не лучшая смерть на Александровском проспекте или еще где-нибудь. После наступления комендантского часа все дворы и парадные двери закрывались дворниками на замки. Право хождения по городу имели только румыны в форме или те, кто имел спецпропуска.

## Ольга Каземировна

Мне исполнилось пять лет, а моему другу из дома 26 по Жуковского, Толику Титу восемь, когда мы стали совершать дальние прогулки по городу и в порт. Попасть в него не составляло труда — ограда была почти повсеместно разрушена, на искореженных рельсах стояли сгоревшие паровозы, вагоны, и вообще мало было чего-либо целого или хоть с виду исправного. Все было превращено в мусор.

В топке одного из паровозов мы нашли большую буханку белого хлеба, но он весь зацвел. Когда мы его поломали, то внутри он был пушисто-зеленым. Почему это запомнилось? Есть очень хотелось.

Почти все причалы разворотило бомбами, но возле уцелевших стояли военные корабли и транспорты — их было немало. Корабли охраняли румынские солдаты.

Возле военной гавани на берегу стоял торпедный катер и несколько докеров проводили с ним какие-то работы. Появились румынские охранники вместе с офицером. Они принесли большие сплюснутые трубы из красной меди и стали выяснять у рабочих, кто помогал пацанам украсть внутренние покрытия или втулки пусковых установок торпедных аппаратов. Укравших медные вставки ребят поймать не удалось, а сами детали были так погнуты, что годились только для сдачи в румынские приемные пункты утилизации цветных металлов.

Кричали на рабочих долго, а мы стояли рядом с румынским офицером и гордились тем, что можем находиться вблизи такого красавца, пока на нас не шикнул кто-то из охранников. Пришлось продолжить прогулку по развалинам порта, с которых нас никто не прогонял.

Мы часами ходили в порту, к вечеру уставшие брели по Канаве (Польскому спуску) мимо фонтана воды, бившего из-под земли возле лестницы, выходящей к Дерибасовской… Он там течет и сейчас.

При немцах румынские пункты приема цветных металлов за леи прекратили работу, и пацаны стали выискивать полезные для них грузы в порту. «Партизаны», видимо, использовали подземные ходы канализации. Они продолжали партизанить и после освобождения города.

Спуск был совершенно безлюдным. Создавалось впечатление, что там никто не живет и по нему кроме нас никто никогда не ходит. При повороте на Полицейскую на некоторых деревьях мы видели повешенных почерневших людей, но не обращали на них особого внимания — это было почти обычным явлением.

Мой возраст не позволял мне общаться с теми, кто приспособился к румынской оккупации, и кому было неплохою. Те, кто жил «весело, вольготно», старался не приучать своих детей к общению с людьми «не их круга».

Бывшие уголовники, взяв беспроцентные румынские кредиты, открыли свои заведения и стали элитой города. Так бывает всегда при перемене власти, но быстро отреагировать успел ничтожный процент населения, оставшегося в оккупации.

В наших домах не было детей зажиточных родителей. Кроме семьи Ольги Каземировны мне не пришлось видеть богатых людей до конца оккупации. Побывал я в ее «хоромах» только один раз, да и вообще, не следовало меня тогда впускать в «приличные дома». Вечно голодного…

Во время румынской оккупации по центральным улицам не проезжали танки и автомобили. Было впечатление, что у румын, кроме винтовок и офицерских лошадей, самой грозной техникой были каруцы с запряженными в них клячами.

В нашу коммунальную квартиру вселилась богатая семья — по тем временам. Заняли они две большие комнаты, в которых жили Беренштейны до эвакуации, завезли мебель, наняли тетю Олю Андрущенко в уборщицы. Она же взялась им варить еду.

Ольга Каземировна, как оказалось, была женой сотрудника румынской сигуранцы и, видимо, не из нижних чинов. Она была красивой, холеной и всегда шикарно одетой дамой. Всегда носила комнатные тапочки, что было в нашей коммуне невиданным делом, одевала халаты (их было несколько) при походах на кухню или в уборную.

Как звали ее мужа никто не знал и редко кто его видел — он почти всегда был на службе. Семья работника румынской контрразведки получала продовольствие в достаточном количестве. О холодильниках тогда никто и не слыхал. Семейным завхозом и поваром пристроилась «украинка» с еврейской головой — тетя Оля Андрущенко. Она любила и умела готовить, при этом имела «свой бульон».

Ольга Казимировна подключалась только к приготовлению мамалыги, которую одесситы не умели варить — они знали только пшенку из молодой кукурузы. Иногда румынские солдаты поставляли гусей — их Ольга Казимировна закрывала в ванной комнате.

Соседи, насмотревшись на человеческую кровь, не хотели их резать, и Ольга Казимировна договорилась с моей мамой, согласившейся потрошить птицу за отрезанные головы и лапки.

Запомнился процесс ощипывания гуся. Потом несколько дней у нас был на обед суп, и я узнал, какая вкусная гусиная лапка. Это была действительно симфония. Мяса там не было, но и жилы со шкурой поражали мое воображение.

В дальнейшем, при подходе наших войск к Одессе, Ольга Каземировна вместе с мужем быстро собрались и разрешили соседям брать все, что кому захочется. Все их имущество было разбросано по обеим комнатам. Я выбрал себе настоящую спортивную рапиру и красивые, отсвечивающие никелем радиолампы от какого-то довоенного приемника.

Ольга Каземировна вместе со своим мужем, похоже, были из обрусевших молдаван или румын, а может и наоборот… Никто из наших соседей не выказывал зависти к их шикарной жизни и не проявлял любопытства, когда им привозили на каруцах мебель, вещи, продукты…

Соседи в нашей парадной были нищими или полунищими, и только по воле случая проживали под одной крышей с «хозяевами жизни». Ольга Каземировна любила, чтобы ее величали по имени-отчеству и в эти моменты млела. Из своей шикарной квартиры с большим полукруглым балконом она никуда не выходила, а самый дальний ее променад был к коммунальному туалету. В такие минуты тетя Дозя загоняла Леньку в комнату, чтобы не путался под ногами у солидной женщины — от греха подальше. В комнате назидательно говорила: «Раздайся море — гавно плывет!», и при этом смеялась.

Ленька запомнил, и потом, если оказывался недалеко от туалета, когда туда направлялась Ольга Каземировна, забегал вперед, и возле темных дверей кричал, закинув вверх голову, заученную фразу.

Ленька не думал о том, что женщине некогда рассматривать его ехидные, и одновременно бесхитростные глазенки. Ей, спешащей по делу с выпученными из орбит глазами, очень не хотелось уговаривать четырехлетнего ребенка пропустить ее в место назначения. И бить его не хотелось, и смеяться в такой момент опасно… После процедуры, поправив халат, она осторожно выглядывала из приоткрытой двери. Кому жаловаться на некультурного сосунка? И что может сказать солидная женщина голодной маме голодного Леньки?

Богатая одежда Ольги Каземировны не производила на голодающих соседей особого впечатления. Она это понимала, и старалась не выпендриваться, а тем более не скандалить.

Видимо, затворническая жизнь ей надоела, и однажды, после истерического домашнего концерта, затеянного ею, муж таки отвез Ольгу Каземировну в Оперный. Она много дней рассказывала тете Оле, так, чтобы слышали все жильцы дома, как хорошо ей было в театре.

После того, как румынские солдаты уничтожили винный склад, выкатив бочки по булыжной мостовой в сторону Польского спуска, казалось бы, пьянка в окрестностях нашего дома кончилась. Однажды среди дня вдруг раздался громкий стук в двери нашей коммунальной квартиры. Такого никогда не бывало, потому что у нас проживал «большой человек». Не было здесь такого даже тогда, когда вино лилось рекой.

Все соседи, находившиеся дома, выскочили в коридор. Когда я выбегал из нашей комнаты, то увидел в темном коридоре испуганные глаза тети Дози, тети Оли и Леньки — они, как мне показалось, светились.

Возле входных дверей со стороны лестницы кто-то грозно кричал по-румынски. Ольга Каземировна открыла двери своих комнат, продолжая припудривать нос. Она была неотразима в ярком свете, бившем в коридор как прожектор со стороны ее громадного балкона.

Заламывая руки, Ольга Каземировна кинулась открывать входные двери. На площадке мраморной лестницы в солнечных лучах, проникавших через громадные окна, возник ее муж, он стоял на полусогнутых ногах и качался. Таким я видел работника сигуранцы впервые. Так супруг перегружался крайне редко, только тогда, когда следствие требовало его присутствия, и в тюрьме допрашивали важных партизан или евреев, которых он дома называл жидокомиссарами.

Сейчас же он пребывал не в лучшем расположении духа и смачно облизывал разбитую о входную дверь руку. Работник секретной службы спьяну не сообразил, что дубовая дверь явно тверже, чем «жидокомиссарская морда», и удивленно рассматривал бронзовую ручку. Жена бросилась к пострадавшему, успев крикнуть: «Оля, помоги удержать его…» Тетя Оля поспешила и предотвратила падение громадного представителя румынской Фемиды. Кое-как они внесли контрразведчика в коридор нашей квартиры. А могло быть и наоборот — он бы выводил тетю Олю.

Так тетя Оля, еврейка, невольно стала пособником сигуранцы. Всю оккупацию она прожила в страхе, вынужденная быть предельно услужливой. За ней могли прийти в любой момент, быстрее, чем за каким-нибудь партизаном, хотя она и добилась очень снисходительного отношения к себе со стороны Ольги Каземировны.

Дядя Петя, ее муж, до войны работал пожарником на Полицейской угол Преображенской. Когда случился пожар в погребе с мацой, он его удачно потушил, а заодно познакомился с дочкой хозяина пекарни Ольгой, хотя хозяев уже не было… Несколько раз он потанцевал в еврейских компаниях, и, как только научился отплясывать «семь — сорок», оказалось, что он «надул Оле большой живот».

Ему не помогли даже большие извинения. С виду он был щупленький, но, оказалось, что дело свое он знал… Тогда дядя Петя был «щирым украинцем», и поставил условия женитьбы: Ольга возьмет его фамилию и национальность. На том и порешили.

За два года до войны у них родился сын, Толя. Родственники жены настаивали на обрезании, но папа Петя был неумолим: «Не дам портить вещь!»

В Одессе секретов не бывает, а семья сидела во время оккупации «на шее» тети Оли, — ей никак нельзя было отправляться в гетто. Поэтому она не выходила из квартиры на улицу, и даже во двор. Жарила, варила, стирала, убирала, до самого освобождения города.

Документы у тети Оли были в порядке, но били тогда не по паспорту. Ее миновала судьба многих соплеменников и родственников.

Я не помню, чтобы после войны к ним приходили гости. Почему-то она никогда не ела мацу, а пекла куличи на Пасху. Наверное, считала, что ее семью спас христианский Бог.

Их сын Толик дожил в Одессе до пенсионного возраста, и возможно не знает, что имеет право на хорошую пенсию на Земле Обетованной.

После того, как румынско-молдавская семья отселилась из нашего дома, я видел их несколько раз возле костела, со стороны Екатерининской. Похоже было, что они проживали на втором этаже дома, примыкающего к зданию, в котором после войны размещалась почта. Потом они куда-то исчезли, хотя и в Румынии они могли оказаться лишними. Румыны и позже не прощали врагов демократии — расстреливали вместе с женами…

Часто приходили со стороны порта ребята, которым было несколько более десяти лет. Шли они в сторону Привоза по Екатерининской и о чем-то оживленно разговаривали между собой. Улицы были пустынны, поэтому я хорошо запомнил песню, которую они иногда весело исполняли:

На пароходе я была,

Большая качка там была,

И вдруг сорвался ураган…

Видимо, пацаны научились каким-то способом зарабатывать небольшие деньги, с которыми чувствовали себя уверенно. Редкие румынские солдаты, проходившие по улицам, на ребят не обращали внимания. Эту песню после освобождения города почему-то перестали петь одесситы. В ней были слова о каком-то краснощеком капитане…

## Шикель-макарона

Я бегал со своей рапирой по улицам. Однажды ко мне подошли два пацана, лет по 11–12, и предложили продать ее за две марки — приличную по тогдашним временам сумму. Тут ко мне подрулил третий парень и сказал, что я продешевил и вещь нужно вернуть. Я догнал ребят, они вернули рапиру и взяли деньги. Каким образом моя рапира перешла в собственность «добродетеля», я уже и не помню.

Под нашей квартирой на втором этаже жила молодая худощавая женщина. Я ее иногда видел, проходя по лестнице домой. К ней в гости захаживали румынские солдаты. Все соседи звали ее «Шикель-макарона», видимо за рост и худобу.

Шикель-макарона, веселая смешливая одесситка, встречала румынских солдат только по одежке, а их ум ее вовсе не интересовал. Хозяйка открывала входные двери квартиры после условного стука, просматривала содержимое пакета, принесенного солдатом, и состроив глазки, пела: «гуляю я, эх, гуляю я…»

Однажды я поднимался по лестнице домой и увидел, что двери коммунальной квартиры второго этажа открыты настежь, а в коридоре толпятся люди. Я вошел внутрь и увидел, как несколько мужчин влезли на большой круглый стол и снимают повешенную «Шикель-макарону» с крюка, на котором раньше висела люстра. Соседи переговаривались тихо, но можно было понять с их слов, что ее повесил собственный муж, партизан, за разгульную жизнь.

Шикель-макарона происходила из потомственной пролетарской семьи, проживавшей в районе Привоза. Этот район при царском режиме, кроме всего прочего, славился дешевыми публичными домами и доступными девицами… В малолетнем возрасте звали ее Машей, позже — Муркой, потом — Шикель-макароной.

Из всех доступных девушек Привоза, Мурка была самой «легкой на передок», и считала, что это не ее собачье дело разбираться с кем гулять.

Молодой сотрудник НКВД, комсомолец Николай, решил взять над нею шефство и перевоспитать. Потом женился на Маше, стал образцовым мужем: приносил всю зарплату домой, не пил…

Шикель-макарона с иронической усмешкой смотрела на те копейки, что приносил супруг в «день чекиста», 21-го числа каждого месяца. Маша с первого дня их совместной жизни наставляла ему рога с его же сослуживцами. Николай терпел, нельзя же было ему, чекисту, разрушать семью, следовало быть «морально устойчивым».

Кто-то сказал ему при разговоре, что, дескать, «сучка не схочет — кобель не вскочит», а Машка хотела всегда.

Потом пришла война, оккупация, и муж был вынужден исчезнуть из поля зрения новых властей, но в Одессе остался. Шикель-макарона возобновила прежние деловые связи с привозными подружками — Косточкой и Булочкой. Вести себя стала с достоинством, как замужняя дама. Важно курила сигареты, изящно держа их двумя пальцами и обмусоливая щедро разрисованными ярко-красной помадой губами мундштук.

Румынские офицеры, а когда их не было, то и солдаты, услужливо протягивали ей зажженные спички сразу с нескольких сторон. Маша тянулась прикуривать к той спичке, к хозяину которой в этот момент благоволила.

Соседи говорили, что муж ее находится в подполье. Я понимал это буквально — сидит он где-то под полом, и слушает… Говорили и о том, что до него доходят слухи о ее загулах, и будто Николай присылал Шикель-макароне угрожающие записки, чтоб не позорила честь семьи чекистов, не напрашивалась на «кару органов».

Маша, с довоенных времен привыкшая считать своего мужа тряпкой, не обращая внимания на его предостережения, гуляла еще азартнее. В мирное время в случае развода с женой Николаю предстояло партийное взыскание за слабую воспитательную работу в своей семье, служебное расследование, понижение в должности и звании, и еще много неприятностей, а во время оккупации он даже и не знал, как подступиться к своей жене.

Каждый день приходила к Шикель-макароне веселая компания — подружки, Косточка и Булочка с румынскими военными. Когда воспитывать жену? Подружки громко стучали в парадную дверь, Шикель выходила на стук в одном халате и с объятиями, раскрывала перед подружками тело. Те радостно визжали, а муж, чекистским взглядом наблюдал за происходящим с третьего или четвертого этажа. Иногда Шикель-макарона не приглашала подруг к себе, и тогда они обижались:

— Что эти мамалыжники в тебе находят? — спрашивала Булочка.

— Им нравится, как макарона перед ними ломается под музыку — поддерживала подругу Косточка, — или когда гремит костями?

— У меня хоть есть, чем греметь! — смеялась Маша, а у тебя осталась одна косточка, и то неизвестно откуда торчит…

Подружки в тот раз принесли с собой грампластинки:

— Мы пришли послушать музыку на твоем патефоне — пробовала уговорить подругу Косточка, просто лопавшаяся от любопытства. Кто же там в комнате изготовился? Это было интересно и мужу…

— Приходите через час, тогда и послушаем — и, подмигнув, добавила — у меня и выпить есть…

Шикель-макарона шмыгнула в темный коридор и захлопнула входную дверь.

— Гулять целый час?! Ладно, пойдем, посидим на подоконнике — предложила Булочка.

— Тебе хорошо сидеть на мраморной плите с твоей толстой жопой, а как мине с косточкой? — пошутила подружка, — тоже мине, не захотела показать даже своего принца…

— Что ты спешишь, как голый? — Он все равно будет выходить через эти двери, и не я буду, если не переманю этого офицерика, не будь я Булочкой!

Николай крутился неслышной юлой все это время на мраморной площадке четвертого этажа.

У подружек часов не было, и они коротали время наугад. Они таки дождались, когда Шикель-макарона вывела своего гостя, румынского офицерика, на площадку мраморной лестницы. Румын оказался хлипенького телосложения, но смотрелся юрким, с хвастливым фасоном, таких одесситки называли «швыцарами». Его огромная офицерская фуражка сверху казалась седлом цирковой лошади.

Булочке стало весело, она вспомнила довоенный цирк, и засмеялась:

— Вот кого наша подружка не хотела нам показывать, этого плюгавого швыцара! — она не предполагала, что он знает русский язык.

— Кто такой плюгавый швыцар? Я — румынский офицер! — Он схватился за висевшую на портупее кобуру. Подружки запаниковали… Шикель-макарона всем телом бросилась на своего ухажера, обвила его руками.

— Это такая одесская шутка, успокойся…

— Пусть с нашими офицерами так больше не шутят! — румын убрал руку с кобуры.

У Булочки пропало настроение отбивать «шибздика» у подружки, а румын стал важно спускаться по широкой лестнице в полной тишине. Было даже слышно, как тикают его хорошие часы…

Подружки с перепугу неслышно пошли не вниз, а вверх, и вдруг увидели свесившегося через перила мужа Шикель-макароны. Они остолбенели. Куда идти, куда бежать? Николай наблюдал за удаляющимся ухажером. Макарона крикнула: «Захотелось почесать языки? Спускайтесь, отметим ваше второе рождение, умницы мои…»

Женщины побежали к подруге, а муж еще долго висел на перилах, как половая тряпка, «сохнул», как недостиранное белье… Повисев немного, Николай неуверенной походкой пошел вниз.

Он успел привыкнуть к своей Макароне, знал ее лучше, чем себя. Одновременно любил, ненавидел, ревновал… Как можно приходить к ней после такого конвейера? Машка и его встречала так, как будто кроме него никого не знала. Убивать он жену не хотел, но проучить бы надо… В который раз?!

На другой день Коле пришлось долго ждать там же, пока последний румынский солдат отпраздновал «собачью свадьбу». Ожидать и выслеживать — обычная работа чекиста, но сейчас предстояло провести операцию личного характера… Он тихо вошел в комнату растрепанной уставшей жены, и, не позволив ей отдохнуть, «стал Колька с Муркой долго говорить».

Задушил он супругу и зачем-то подвесил ее, голую, вместо люстры.

Похоронили Шикель-макарону незаметно. Никто ничего не организовывал. На каруце из мэрии приехала бригада, собирающая мертвецов по городу и снимающая повешенных, отвисевших длительное время на ветках деревьев. С размаха бросили Макарону на почерневшие тела, и уехали…

Румынские солдаты и офицеры еще много дней и ночей стучали по два раза в дверь, потому, что дореволюционные звонки с надписью «прошу крутить» пролетарии сломали задолго до войны, а жители коммун назначили условный стук по количеству раз на каждого соседа.

Кто-то из жильцов попросил грамотного солдата написать по-румынски «просим по два раза не стучать: ваша подруга переселилась в мир иной». Эти каракули долго висели на двери коммунальной квартиры второго этажа. Постепенно надобность в сообщении пропала и кто-то сорвал записку.

Муж Шиель-макароны после войны домой не вернулся — наверное где-то погиб. В его большой комнате с балконом после оккупации поселилась еврейская семья с сынишкой Эдиком, который носил в кармане много мелочи, звенящей при каждом его шаге. Мне это нравилось, и я мечтал, что, когда вырасту, тоже буду носить в кармане много мелких денег.

## Ланжерон

Плавать мы научились быстро без посторонней помощи, но далеко заплывать не рисковали. Плавали вдоль берега, а загорали чаще на камнях, они были горячими и остывали медленнее, чем песок.

Домой с пляжа шли уставшими, очень голодными, но не спеша. Заходили в гущу деревьев, лазили по ним. Однажды Ленька влез на дерево и когда спрыгивал с ветки, зацепился трусами за сучок (кроме трусов мы летом ничего не носили). Они были ветхими, разлезлись в лапшу, а по городу ходить совсем голым даже тогда не было принято. Ленька всю дорогу удерживал две половинки трусов обоими руками, отчего походка его стала очень оригинальной.

Проживал я с мамой, папой и сестрой Диной в восемнадцатиметровой комнате. Отец чинил обувь, мама торговала, как могла, сестра приторговывала папиросами. Их «бизнес» особой прибыли не приносил, однако без него мы были обречены на голодную смерть.

Позже я узнал, что отец после окончания Одесского института народного хозяйства работал до 1937 года директором банка в Макеевке. Все, имеющие высшее образование (особенно в шахтерских центрах) находились под постоянным присмотром НКВД. Он, возможно, о чем-то имел неосторожность высказаться, и как большинство «сильно умных» в 1937 году был исключен из партии, но еще не был арестован, когда мама, беременная мною, упросила начальство отдать ей больного мужа (отец очень переживал исключение из партии и ожидал снятия с должности, оттого заболел сердечной недостаточностью и аритмией). В Одессе он устроился начальником планового отдела на канатный завод, где и работал до начала войны.

Мама иногда заходила к нему на работу и разговаривала с работницами ПЭО, которые ей рассказывали, что с Семеном Ивановичем невозможно говорить ни на какие темы, кроме как о детях и жене. Охоту обсуждать другие вопросы ему, очевидно, основательно отбили в городе Макеевка. Он вообще, как говорят, «не высовывался» и не проявлял никакой инициативы. В беседах с мамой он неоднократно говорил о том, что жалеет об окончании института.

Отец был умным, волевым, но надломленным большевиками человеком. Как личную трагедию он переживал отступление наших войск до Сталинграда и говорил маме: теперь начнется наше наступление. В этом он не ошибся.

Летние пляжи города были пустынными и тихими. На берегу звучал только легкий рокот волн, а в штиль и его не было слышно. Пацаны, пришедшие на пляж, тоже не шумели, их можно было пересчитать по пальцам. Такой чистой воды в море никогда не было. Дно просматривалось так четко, что видны были лапки рачков, глаза тюльки и мелких крабиков. Кроме крабиков, поймать что-либо нам не удавалось, рачки и тюльки нас видели, а опыта выживания у них было гораздо больше…

Взрослые мужчины, если они не имели специальных оккупационных документов, старались ходить по городу как можно меньше.

В верхней части склона маячили вооруженные румынские солдаты. Нам они не мешали.

Пляж Ланжерон начинался сразу после массива. К нему можно было спускаться по покатому склону от парка Шевченко, или со стороны Большой Арнаутской, по переулку Веры Инбер, Лермонтовскому переулку, через лысую глинистую гору с протоптанными тропинками. Попадать к морю было несложно.

«Кудою ты в Одессе ни пойдешь, так знай —

— тудою ты в Одессе выйдешь к морю…»

Справа Ланжерон упирался в скалы, на которых задолго до войны располагался ресторан «Прибой», а дальше начинался пляж Отрада, тоже достаточно широкий. Дно возле скал было каменистым — его устилали остатки разрушенного ресторана. К скалам и сегодня стекает холодный ручей пресной воды, промывший себе дорогу из-под горы. В нем можно было смыть соль после купания в море, но мы этого не делали.

Все лето пацаны бегали босяком, не зная, что такое летняя обувь. За пляжный сезон наши подошвы становились толстокожими — прочнее свиной кожи. Изредка спускались к морю румынские солдаты, весело раздевались, прыгали с разгона в море, что-то нам кричали, понятное только им. Мне было всегда удивительно, как быстро они разматывали, а потом наматывали на ноги свои обмотки.

Недавние крестьяне из забитых румынских деревень, жившие в нищете, подобной нашей деревенской, стали солдатами королевской армии, грозными оккупантами. В Одессе им посчастливилось делать обыски в квартирах, из которых бежавшие люди не успели и не смогли почти ничего вывезти. Им легко вбили в голову, что они теперь хозяева этого красивого города, а помешать им могут только жиды и комиссары…

Глаза деревенских ребят блестели. Основным заданием для них был поиск евреев, которые собирались загнать всех европейских крестьян в колхозы, чтобы заставить их работать на бездельников-коммунистов: так им объясняли офицеры, которые имели какое-то образование, и солдаты не имели оснований им не доверять…

Искать евреев было несложно: у мужчин следовало посмотреть на член, а у женщин — на нос. В сомнительном случае следовало проверить произношение слова «кукуруза». По мнению румын, настоящая еврейка выговорить такое сложное слово не могла. «Кукугуза» — это звучало приговором.

Первые дни оккупации города солдаты работали в поте лица, выводили со всех этажей всех домов еврейские семьи. Их оказалось немало. По радиоточкам передавали приказы о месте сбора евреев для отправки на историческую родину и еще куда-то… Тех, кто шел добровольно, не охраняли, а прятавшихся в квартирах выводили солдаты с винтовками и гнали по нашей улице вверх, наверное, и не только по нашей.

Мы с Ленькой редко сидели дома. Бегали, и не обращали внимания на людей, которых охраняли румынские солдаты. В одной из групп евреев из толпы выскочил нервный старик, и громко закричал охраннику: «За что вы нас повыгоняли из дома?»

Он, видимо, полагал, что солдата можно «взять на горло». Румын ничего не ответил, спокойно навел на еврея винтовку и выстрелил. Старик упал, скорчился, кто-то из арестованных что-то закричал… Румын скомандовал, и все спокойно пошли к Александровскому садику.

Мы приблизились к неестественно скрюченному старику, который смотрел на нас немигающими черными глазами, на которых блестели слезы… Побежали мы домой, на парадной лестнице нашего дома встретили тетю Дозю. Ленька стал бессвязно рассказывать маме о том, что он увидел, а я добавлял что-то от себя. Ленина мама в конце концов все поняла: «Не бегайте по улицам, если не хотите, чтобы и вас пристрелили!» — «А нас за что?!» — закричали мы, не сговариваясь… До этого она говорила, когда хотела напугать Леньку: «Вот придет Бабай!»

Много дней водили румынские солдаты евреев в сторону Александровского проспекта, который до и после войны назывался проспектом Сталина. Обреченные люди шли спокойно, румыны деловито на них покрикивали, все было каким-то обычным, привычным…

В первый год от еврейского населения, оставшегося в городе, почти никого не осталось в живых: румыны охотились за иудеями азартно. Иногда за взятки в виде золотых украшений отпускали подозрительных одесситов, которые в лучшем случае могли спрятаться в сырых катакомбах одесских двориков. Как было с теми, у кого золота нет? — На нет и суда нет… Таких вели на Александровский проспект.

## «Если ветер крыши рвет…»

Всю зиму румынские солдаты выискивали по чердакам и кладовкам попрятавшихся там евреев. Иногда выводили на заснеженные мостовые по несколько семей, вместе с больными истощенными стариками, одетыми в какое-то рванье. Я смотрел в окно. Снежная вьюга мешала продвигаться толпе, окруженной несколькими румынами, прикрывавшими рукавами шинелей лица… Винтовки висели за спинами.

Несколько стариков и старух упали недалеко от школы. Румын, замыкавший толпу, помог им переместиться под ближайшие деревья, и уложил в сугроб. Больше старики не шевелились, и через короткое время их занесло снегом. Один из стариков поднял руку, как будто с кем-то прощался. Потом рука упала и утонула в снегу…

Их никто не тревожил до весны…

Я разговаривал позже со своими одноклассниками. Примерно то же они наблюдали тогда на всех центральных улицах города, вплоть до Ольгиевского спуска.

Мама и в такой холод ездила на товарняках по селам. Выменивала «городскую» одежду на кукурузную, а иногда пшеничную муку. Изредка привозила кусок свиного сала, тогда она светилась от радости. Мы с Ленькой получали по кусочку просоленной свиной шкуры и жевали до тех пор, пока от нее ничего не оставалось, растягивали удовольствие. В такие дни мы с сестрой ожидали, когда она сварит мамалыгу с жареными шкварками. Мы считали, что ничего вкуснее не бывает.

Мама научилась хорошо готовить мамалыгу. Возможно, Ольга Каземировна подсказала ей, как нужно обрабатывать крупу. Вначале мама прожаривала ее на большой сковородке до тех пор, пока она слегка не темнела. Запах распространялся по всему «калидору». Потом мамалыга варилась в большом казане на примусе и долго там пыхтела, а я ждал, пока она напыхтиться — это было мучительно долго. Когда на маленькой сковородке поджаривались шкварки, я от нетерпения бегал и заглядывал, ожидая, когда они станут светло-коричневыми. Бегал молча, а в животе урчало до боли… Содержимое казана и всю имеющуюся еду мама распределяла на много дней. Когда я или сестра просили добавки, она отвечала: «есть — так жопе честь, а что будем завтра есть?»

О довоенной еде все забыли очень скоро. Иногда кто-нибудь вспоминал как добрую сказку о том, как хорошо жилось до войны: можно было покупать в магазине недорогой хлеб, батоны, пирожные… Я не понимал, почему они не накупили еды впрок?

На голодный желудок женщины вспоминали детские песни: «ой, хорошо в Стране Советской жить…», и тому подобные. Иногда радовались, что никого ночью не арестовывают. Румыны просто вешают и стреляют прямо на улицах, а еще от них можно недорого откупиться, если есть чем. Во все времена, всем и всегда казалось, что у одесситов «денег куры не клюют». Кроме того, им всегда весело. Скучать и вправду не давали, обыскивая комнаты, ощупывая постели… Ничем не отличались от других и румынские власти.

Во время оккупации коммунальные квартиры нашего дома были полупустыми, некоторые вовсе пустовали. В них поселились румынские солдаты, позже — немецкие. Жильцы ходили тихо, общались между собой осторожно.

Оживились соседи 7 ноября 1943 года, когда кто-то из них принес радостную новость — на колокольне Успенского Собора развевается красный флаг! Эта весть проникла во все квартиры так же быстро, как если бы об этом сообщили по радиоточкам.

Люди оживились, заулыбались, эта новость была одной из немногих хороших, по каким соседи соскучились. Говорили, что флаг заминирован. Румынские солдаты действительно боялись его снимать до вечера. Развеселились, под общее настроение, и мы с Ленькой, хотя и не понимали, почему.

Почему так весело стало жильцам нашего дома? Почему румыны забегали? Где находится Успенский Собор с флагом? Бабушка водила меня в церковь, но я не знал, что это и есть Успенский Собор.

После освобождения Одессы справа от центрального входа Успенского Собора была установлена памятная доска, посвященная этому событию. Одесситы думали, что они увековечили память молодых героев-подпольщиков, рисковавших своей жизнью для того, чтобы дать глоток воздуха тем, кто «был на территории, занятой врагом». Кому-то захотелось, чтобы теперь одесситы забыли о том настроении своих отцов и дедов — памятную табличку сняли… Этот флаг установил в ночь с 6 на 7 ноября комсомолец Георгий Дюбакин.

## «Снег лежит на улице…»

Хорошо запомнились оккупационные холодные зимы. Папа устанавливал на свое место «буржуйку», подключал к ней трубу, состыковывал ее с коленом в форточке. В подвальном помещении находился наш сарай, где было много дров, их родители собирали летом и осенью. Угля не было. Сестра и родители подбрасывали щепки в печку, а я наблюдал в окно, как румынский патруль в ярко-зеленых шинелях пританцовывал вокруг костра, рядом с бездействующей трамвайной остановкой. Двери школы открыты настежь. Оттуда другие румыны периодически выносят доски от дверей, стулья, разбитые парты. Огонь поднимается высоко и румынам весело — они танцуют и что-то поют. Чем выше огонь — тем им веселее.

Мама как-то сказала про себя: «нам бы немного угля…» Я вспомнил, где осенью видел красивый черный уголь. В конце двора находилась железная лестница, ведущая на второй этаж, а под ней кто-то соорудил сарай. Почему никто не сломал дверь, было загадкой. Под нижней ступенькой оказалась дыра, через которую выглядывал блестящий уголь.

Я одел свое ватное пальтишко, которое мама где-то приобрела для меня. Оно было куплено «на вырост», и рукава приходилось закатывать, как у мясников на Привозе после войны. Какими были обувь и шапка, теперь вспомнить не могу.

Понимал, что «иду на дело». Вышел во двор, осмотрелся. Никого нет. Подошел к лестнице, насобирал полные карманы угля и пошел к черному ходу. Я понимал, что уголь чужой, но что поделаешь…

Пришел домой, выложил из карманов уголь возле буржуйки. Мама спросила: «где ты его нашел?» И добавила: «Наш хозяин». Я возгордился, и снабжал этим углем, который сам ссыпался к дыре под лестницей, нашу семью всю зиму. Каждый день выжидал, сидя на этой лестничке, когда никого не будет, а румыны собирались во дворе в такой холод нечасто. После того, как уголь прогорал, его не выбрасывали. Папа разбивал обгоревшие куски молотком, и он опять был как новенький.

## «Сигареты, спички…»

Однажды сестра Дина пошла продавать сигареты на вокзал и зашла в вагон, где находились люди, отправляемые на работу в Германию. Когда она наторговала, что смогла, входные двери вагона закрылись и пришлось ей ехать вместе со всеми. Кричать и пробовать выйти из вагона было бесполезно. Поезд остановился в Раздельной, румыны принесли воду для отправляемых в Германию, сестра стала им объяснять, что она продавала папиросы и осталась в вагоне случайно. К тому же было явно видно, что она несовершеннолетняя и румыны ее выпустили.

Домой Дина добиралась на попутных подводах несколько суток. Пришла уставшая, голодная и очень обиженная на маму за то, что она не искала свою дочь. Будучи ребенком, бессмысленность и бесполезность таких поисков она не понимала.

У Дининой подруги Лоры был брат, которому тогда исполнилось 10 или 11 лет. Он пошел осенью 1942 года купаться на массив, промерз и когда пришел домой (жили они в соседнем, 21-м номере), то родителей там не оказалось, а квартира была закрыта. Он долго кричал, стучал, выбегал на улицу, но никто не обращал на него внимания.

Когда пришла бабушка и впустила парня в комнату, было уже поздно. У него поднялась температура, а врачебной помощи и медикаментов не было. Утром он скончался.

Через некоторое время мама поехала с «барахлом» по селам и удачно его продала, привезла два мешка яблок и на подводе доставила их к нашему дому. Криком позвала отца. Он спустился вниз, принес мешки в комнату и высыпал яблоки на пол, возле окна. Радости не было границ. Ели мы их сколько хотели, а потом мама одолжила у кого-то из соседей весы с гирями и очень быстро жильцы раскупили яблоки. В нашей семье появились небольшие деньги, и отец при мне сказал: «Маня, если суждено остаться нашим детям без кого-то из родителей, то лучше им быть без меня. Я не смогу их поставить на ноги, а ты сможешь». Так и случилось.

Дома я находился очень редко. Однажды недалеко от нашего дома ко мне подошел католический священник, шедший в сторону костела и подарил красивый медный крестик, что-то сказав при этом (что именно, я не помню). Но мое настроение явно улучшилось, и я побежал домой рассказать о произошедшем событии. Родители на это никак не отреагировали. Они были воспитаны коммунистами-атеистами, думали, что Бога нет.

Огромный двор, посреди которого располагается костел, имел выход на улицу Жуковского через небольшую развалку и два прохода на Ришельевскую и Полицейскую. Слева от центрального портала церкви можно было убегать через лестницу парадной на Полицейскую (теперь Бунина) улицу, и, само собой разумеется, пустовавший двор возле входной двери в храм имел два широких прохода со стороны Екатерининской. По этой причине в этом дворе чувствовали себя в полной безопасности беспризорники, пацаны наших дворов, румынские солдаты, ищущие приключений, и молодые женщины, ищущие солдат…

Среди пацанов, считающихся авторитетами, выделялся круглолицый парень лет двенадцати, Вова Рыбалко. Он был среднего роста, очень широкоплечий, с хорошо развитой мускулатурой рук и ног, и считался взрослым не только для нас, шести — восьмилетних. Глаза его все время что-то высматривали, выискивали. Каким образом он умудрялся поддерживать питанием столько мяса, было загадкой для наших родителей, а возможно, и для румын. Его худощавые сверстники смотрели на Вову с почтением, как на старшего по званию.

На плечах его было много места для будущих генеральских погон, хотя в остальном он был похож на обыкновенного беспризорника. Вова разговаривал с румынскими солдатами, как с равными, таскал откуда-то медные самовары, чайники, шины. Никто ему не мешал. Заменившие румын немцы тоже не обращали внимания на территорию костела и его обитателей — это была некая нейтральная зона, с которой все мирились. И Бог ее хранил. Здесь не бывало стрельбы, а на деревьях никого не вешали.

Моей сестре Дине в 1941 году исполнилось 12 лет. Она была очень подвижной и имела характер, позволяющий верховодить в семье. Не справлялась она только с бабушкой Пелагеей, которая отгоняла ее от себя как назойливую муху. Была у нее подруга — Лора, с которой они стали торговать поштучно сигаретами, папиросами с лотка, прикрепленного к шее, при этом пели песни типа:

Сигареты, спички,

Детские яички

Или:

Румынка-чучело, чучело,

Губы напиндючила

А когда разбой,

На каруцу и домой

До того Дина пробовала учиться в румынской гимназии, где она с удовольствием изучала все предметы, включая немецкий и румынский языки. Не нравился ей Закон Божий. Это было естественно — отец, исключенный из партии коммунист, оставался безбожником, а мама ему во всем доверяла. Настало время оплатить обучение, которое было недорогим, но в нашей семье и таких денег не водилось… Пришлось ей заняться коммерческой деятельностью.

Румынские и немецкие школы, обучавшие немногочисленных школьников, давали хорошие знания по тем предметам, которые в них преподавались. Учили недорого, очевидно, чтобы в дальнейшем иметь квалифицированные кадры для управления завоеванными территориями. Моя сестра, Дина, получив начальные знания в такой гимназии, без проблем, после освобождения города, окончила с золотой медалью одесскую школу рабочей молодежи № 13.

Мне повезло работать с инженером Юрием Дистерговым, который учился в немецкой школе для фольксдойче и после войны легко поступил в Одесский Институт Связи. Можно заключить, что уровень обучения в гимназиях был неплохим.

Советские власти не преследовали детей, получивших начальное образование при оккупантах. О судьбе студентов, учившихся в Одесском университете или медине, я ничего не знаю. Согласно слухам, места на Колыме и дальше для них находились.

С Юрой Дистерговым я работал в правительственной связи в течение семи лет. Нам не приходилось краснеть по поводу незнания техники, не было стыдно за свое детство в оккупации, за послевоенную юность, да и за взрослую жизнь тоже…

Довоенная советская власть заботливо растила молодежь, которая обучалась в «ликбезах», средних и высших учебных заведениях. Но после получения выпускниками специальности, они считалась интеллигенцией, то есть, по меткому выражению Ленина — «гавном нации», без которого под подошвами пролетариат, однако, не мог плавно скользить к «светлому будущему». Судьба нашей семьи иллюстрирует такое отношение властей к выпускникам ВУЗов, считавшимися потенциально неблагонадежными.

Мой отец получил среднее образование в 1916 году. Ходил в серой школьной шинели. Он вспоминал, как спрашивали пожилые люди: «Солдат, как дела на фронте?» Потом его забрали в Красную Армию, в которой грамотных солдат было немного, там его усадили за штабной письменный стол. После окончания гражданской войны послали учиться в Одесский институт народного хозяйства. Складывалась его судьба как будто бы неплохо для молодого непьющего коммуниста…

Получил папа направление в город Макеевку, на должность директора банка, и оказался он в тридцатые годы в самом гнезде шахтерской интеллигенции, «дело» которой вскоре изучали в кратком курсе истории ВКП(б). Родители, конечно, разобрались в том, как людей производили во «враги народа», когда отца исключали из партии… Ни мама, ни папа даже не помышляли о том, чтобы работать по специальности на оккупантов. Они были уверены в нашей победе.

При любом исходе нашей семье была надолго уготована судьба людей второго сорта. Мама получила работу бригадира на заводе им. Ворошилова только в середине 1946 года, из-за того, что была в оккупации. И разрешили ей работать в должности сменного инженера только летом 1952 года, когда стали перемещать евреев в связи с «делом врачей». Побывавшие в оккупации становились для советской власти менее опасными. А евреи — все более виноватыми.

## «Что ни делается — все к лучшему…»

Судя по тому, что я слышал от разных людей, немецкие и румынские гимназии и лицеи давали хорошие знания учащимся, которых было немного. Мало кто из одесситов имел возможность оплачивать стоимость образования, а многие вообще считали его излишним. Значительно позже одесситы додумались до того, что любая власть может отобрать у них все, вплоть до свободы, но не в силах отнять знания.

Как сказал один учитель математики в советской школе: «Знание — это оружие, которое нельзя давать всем подряд…» В его скромных преподавательских способностях я очень сомневался. Он учил десятиклассников решать уравнения методом подстановки любых случайных чисел вместо неизвестных.

Румыны имели возможность привозить своих жен и подруг в «свою» Одессу, и молодых румынок было много. Они густо раскрашивались губной помадой, пудрой и всякими румянами. Вели себя с достоинством цыган, сорвавших неожиданный куш. Они важно прогуливались по центральным улицам Одессы со своими мужьями-офицерами, которым при встрече солдаты отдавали честь.

Жены чувствовали свою значимость, как будто это их приветствовали, и это они стали хозяйками города, хотя и очень грязного, и неухоженного. Румынки-чучела одевались так, как потом были одеты уцелевшие цыганки, блуждающие группами на Привозе или по бульвару Фельдмана.

Почему румыны так ненавидели своих чуть ли не кровных братьев и сестер? «Чучела» курили какие-то вонючие сигареты, но держали их в руке гордо, не так, как наши цыганки. Запах этих сигарет мне казался хуже махорочного дыма. Возможно, только казался…

После того, как был взорван румынский штаб на Маразлиевской, высокое руководство было торжественно захоронено в парке Шевченко с соблюдением всех воинских ритуалов. Присутствовали родственники погибших, священники отпевали, оркестр исполнил государственный гимн.

Через пару лет мы с мамой проходили мимо этого места, когда шли на Ланжерон стирать носильные вещи и постель. Руководство Румынии, наверное, уже почувствовало несостоятельность своих притязаний на Одессу, и мы застали процесс эксгумации румынскими солдатами своих погибших офицеров для их захоронения на родине.

Откопанные офицеры лежали рядами в гробах с открытыми крышками. Их перекладывали в новые гробы. Меня поразило то, что конечности рук и головы стали черными, шинели и фуражки подгнили, и были эти офицеры совсем непохожи на тех бравых, шагавших по Пушкинской и рапортовавших у мэрии своему начальству.

Захоронение находилось на самом высоком месте парка им. Шевченко, чуть правее нынешней Аллеи Славы. Видимо, румыны хотели иметь такой пантеон для своих героев… Могил было много, и располагались они по обе стороны аллеи и в центре. Румынские солдаты смотрелись сурово, такая работа им не нравилась. Они уже привыкли к другой…

## Городские катакомбы

В некоторых дворах, где имелись проходы в катакомбы, прятались евреи. Жильцы из своих скудных запасов выделяли им, что могли, и многие из них выжили.

Одесские городские катакомбы вовсе не такие, как их показывают приезжим экскурсантам. В Нерубайском сухие, проветриваемые морским воздухом старые штольни, в которых можно по глупости заблудиться, но там можно жить, если иметь запас продовольствия и воды. Нет там света — и без света можно.

Во многих местах, где раньше рыли колодцы и натыкались на пустоты, оставались широкие раструбы, по которым можно было подниматься к малозаселенным окраинам города.

Жизнь евреев, рискнувших прятаться от румын в подвалах с выходами к катакомбам, была далеко не такой райской. Канализация и водопровод повреждались во время бомбардировок, кроме того, старые трубы были после революции доведены, как и все городское хозяйство до отчаянного состояния. Назвать городские катакомбы мокрыми, слизкими, душными — все это будет мягко сказано.

Под ногами поселившихся там евреев бегали стаями крысы. Кошек невозможно было загнать туда силой, они вылавливали крыс на выходе из катакомб, и выкладывали их рядами возле входа в подвал, намекая жильцам: кормите нас! Кого кормить? Людей, живущих там, или животных?

Кошки, преодолевая брезгливость, разрывали свежих крыс потому, что больше есть им было нечего. Голодные люди иногда вылавливали бродячих собак, готовили себе еду, этими же продуктами кормили и евреев в подвалах. Постепенно ничьих животных становилось все меньше, и долго еще после войны не нужны были гицели, отлавливающие кошек и собак…

Евреи, жившие в таких условиях, не могли углубиться в сухие участки катакомб. Они находились далеко от родного двора, где их знали, и как могли, заботились о них.

Сырость и гниль пронизывала насквозь. Как-то просушиться можно было только ночью. Зимы оккупационного периода были очень холодными. Многие из тех, кто прятался не выдержали, не выдерживали и жильцы наверху…

Румынские солдаты иногда делали облавы не только на улицах, но и производили обыски в квартирах, заглядывали в подвалы. Обычно, спускаясь вниз, они производили немыслимый шум. Им явно не хотелось встречаться с экзотическими жителями подземелий…

Молодежь, стоявшая «на шухере», узнавала об облаве первой и быстрее всех оказывалась в дальних проемах штолен. Люди пожилые были менее проворными. Румыны производили несколько выстрелов в темноту, светили фонариками «Диамант» (как мы их называли после оккупации), и тоже наперегонки убегали из этих жутких и душных подвалов.

Прятавшиеся три года оккупации и выжившие не хотели вспоминать о том кошмаре, оттого и нет их «Воспоминаний и размышлений». И обращались с ними так же, как и с нашими мамами, побывавшими «на территории, занятой врагом…»

Интересной оказалась судьба отца нашего ровесника Алика, жившего на втором этаже, над подъездом дома № 26 по улице Жуковского. Отец Алика, еврей, до войны жил, по рассказам соседей, очень богато. По своей работе часто ездил в загранкомандировки, и его семья в материальном отношении резко выделялась среди соседей. Тогда живущие в таких условиях граждане редко долго оставались на свободе: это выглядело подозрительно.

Под подозрение попал и отец Алика. Почувствовав это, он сбежал неизвестно куда, однако о семье не забыл — регулярно снабжал их деньгами. Прятался он до прихода румын. При них посчитал возможным объявиться, однако быстро разобрался в обстановке и снова исчез.

Мама Алика была русская и их никто не трогал. Она приторговывала своим имуществом — было чем. Видимо и румынские солдаты не всё сумели найти.

Отец Алика и в этих условиях умудрялся помогать семье, хотя делать это ему было труднее, чем другим. Прятаться и одновременно зарабатывать — это было немыслимо.

С приходом наших войск он вновь исчез из Одессы, однако все равно постоянно присылал деньги из разных концов СССР.

Алику с мамой после освобождения города жить было сложнее, чем при оккупантах. У них часто производились обыски, а со временем они куда-то делись (или их дели). Так, судя по всему, далеко не глупый человек, при любой власти оказался «перед Родиной вечно в долгах», и, наверное, плохо кончил, а возможно, впоследствии был реабилитирован.

В соседнем дворе № 21 на втором этаже проживал мой ровесник Виктор. Двери их квартиры выходили на веранду двора, и после обеда эта сторона ярко освещалась солнцем. Мама Виктора, тетя Ира, позвала как-то меня в гости.

Витя восседал на качелях, прикрепленных к потолку дверного проема и катался. Увидев меня, остановил качалку и предложил «получить удовольствие». Так мы познакомились. Тетя Ира принесла по кусочку хлеба. Пришел с работы отец. Он был очень высоким, широким в плечах. Позже я узнал, что он работал ремонтником в порту.

После освобождения Одессы отец Виктора продолжал работать, и даже ожидал награду за потопление какого-то катера во время немецкого отступления, но внезапно куда-то исчез. Тетя Ира и Витя никогда на эту тему не говорили, но дружеские отношения у нас сохранились на всю жизнь.

В шестилетнем возрасте мальчишки уже считались вполне взрослыми и такими считали себя сами.

Тогда же мы впервые подверглись «ограблению». Покупались на Ланжероне, понежились на солнце, и в хорошем настроении поднимались по пыльной дороге в парк Шевченко. Не было на этой дороге никаких лестниц, она не была даже заасфальтирована. Иногда на спуске можно было встретить женщин, несущих вещи на стирку.

В каком-то сарае нам повезло найти несколько увеличительных стекол. Мы наводили фокус на бумажки — при солнечной погоде добивались того, чтоб шел дым, а иногда бумажки загорались. Нас это забавляло, и с линзами мы не расставались. В верхней части спуска из-за деревьев выскочили три пацана старше нас, и с грозным видом отобрали наши цацки. Убежали они так же внезапно, как и появились. Нам было очень жаль единственных наших игрушек, которые у нас нечаянно появились, но против силы не попрешь.

Я понимал, что такие заботы никого кроме меня и Леньки не волнуют. Маму беспокоили совсем другие проблемы. Под конец румынской оккупации дома не оставалось вещей, которые можно было бы обменять на «харчи». Она ходила по соседям и предлагала посреднические услуги: на приемлемых условиях продать их вещи. Пожилые соседки, которым было не под силу ездить по селам в товарняках и в любых других поездах, соглашались. Им тоже нужно было как-то питаться.

Однажды я увязался за мамой, когда она поднималась к старушке, приготовившей товар, на четвертый этаж. Среди стареньких кофточек и юбок лежала красивая деревянная шахматная доска. Мама отложила ее в сторону и сказала, что в деревне такое не возьмут, а такую тяжесть возить без толку она не может.

Старушка расстроилась, открыла коробку и стала показывать костяные шахматные фигуры, изготовленные, видимо, большим мастером. Сама доска внутри была разделена на ячейки для хранения фигур, покрытые бархатом. Мне так понравились пешки, кони с всадниками, королевы и короли в коронах, что руки сами потянулись к ним. Соседка сказала, чтобы я не трогал фигуры руками — они очень дорогие. Таких шахмат мне больше никогда не пришлось увидеть. Ими невозможно было играть, их нужно было рассматривать часами, но тогда они никого не интересовали, кроме старушки, их хозяйки.

Ездить по селам в то время было более, чем небезопасно. У женщин могли отнять и имущество, и добытые тяжким трудом продукты. Отобрать могли румыны, бандиты, полицаи или проголодавшиеся жулики. Но не ездить за «харчами» мама не могла: мы с сестрой висели у нее на шее неподъемным грузом.

Папа делал, что мог, но основной кормилицей была она. После каждой поездки мы встречали измученную маму с восторгом голодных щенят и она, еще не переодевшись, давала нам что-то заранее приготовленное для нас — кусочек засахаренного меда или хлеба «от зайчика», который сама недоела и сохранила, чтоб отдать нам.

Даже не отдохнув, мама развешивала на весах привезенные крупы, муку… соседям под договорные обязательства. На неделю нам хватало еды, не больше. И все повторялось. Так продолжалось до конца румынской оккупации. Все эти годы дома почти не было хлеба. Мама варила мамалыгу, изредка жарила на сковородке коржи, вкуснее которых трудно было себе представить. Небольшие кусочки хлеба мама провозила из сел. Это были остатки настоящего крестьянского хлеба, выпеченного в домашней печке.

## Тихий ужас

Сначала стали уезжать на каруцах жены румынских офицеров, уже не утруждавшие себя крашением губ и щек, зато успевшие погрузить свой скарб. Часто в одной повозке усаживались по несколько крикливых румынок. Что им разонравилось в нашем городе? Соседи терялись в догадках. Что будет без румынок-чучел?

«Говорят, скоро придут немцы, они пострашнее!» — говорили одни.

«Куда еще страшнее?» — не верили другие.

При румынах, потом при немцах, по Екатерининской изредка тарахтели брички. Пожилые биндюжники чаще всего ехали без клиентов, насупившись. Малолетки иногда догоняли бричку и цеплялись за нее, упираясь ногами в ось. Решил покататься и я, но не угадал настроения биндюжника, который стеганул меня кнутом так, что долго пришлось вспоминать, и жалеть лошадь, получавшую такие удары регулярно. Кинулся искать камень, но как назло, под руками его не оказалось.

Красная Армия отступала полтора года с боями, пока не остановилась на берегах Волги в Сталинграде. Румыны чувствовали себя хозяевами Одессы, которая оказалась в глубоком тылу на год и два с половиной месяца.

Город все это время никто не бомбил, и он сохранился таким, каким его оставили наши войска. Румынские солдаты весело пританцовывали возле ворот своего штаба и во дворе, громко пели хором «Сталин плачет в Москова…», выискивали евреев, коммунистов, устраивали им террор, подобный красному, без суда и следствия… При этом громко смеялись.

Так было до холодов, начавшихся в конце 1942 года. Снежная морозная зима принесла румынам неутешительные вести с Волги. Новый Год пришлось немцам праздновать вместе с солдатами королевской армии в невеселой обстановке…

Слухи о разгроме германских войск под Сталинградом распространились очень быстро. Отец прочитал листовку, приклеенную к газетному стенду на Пушкинской, и изменился до неузнаваемости. Вернулся со мной домой, даже не купив махорку. При мне сказал маме: «Наконец-то началось наше наступление».

Я не понимал, о чем говорил папа. Кто такие наши? Что такое Сталинград? Об этом стали шептаться соседи. Для меня нашими были румыны, которые кормили нас с бабушкой Пелагеей обедами, пока она была жива…

Снежная зима намела огромные сугробы под деревьями, к которым дворники нагребали снег с мостовых и тротуаров. Сугробы были выше моего роста, и мы с Ленькой катались с них на задницах. Мамы пошили нам из тряпок валенки, чтобы мы могли позволить себе такую роскошь, бегать по снегу и валяться в сугробах безлюдной улицы возле нашего дома.

Пришла весна 1943 года, снег стал таять. Обуви на такой случай у нас не было, и мы стали играть в парадной. Соседи и наши родители носили снег домой ведрами. Часто другой воды в доме не было, и ее использовали как питьевую. Когда от сугробов почти ничего не осталось, обнажились почерневшие мокрые трупы замерзших зимой и пристреленных одесситов, пролежавших там со времени снегопада. Проходившие мимо них соседи говорили: «Это тихий ужас!»

Почему ужас тихий, мы не понимали.

Наступление Красной Армии от Волги и Курска, подействовало на румын, как холодный душ на пьяного. Кровожадность иссякла. Они стали присматриваться к нам, голодным пацанятам, что-то ищущим… Солдаты начали понимать лучше нас, что мы ищем…

Иногда кто-нибудь из них подзывал нас и давал, что имел. Чувствовалось, что румыны стали другими, менее грозными. Каруцы вывозили с тротуаров смердящие трупы в промокшей одежде, вода стекала с них ручьями, рабочие с помощью крючьев укладывали мертвецов в повозки, с которых тоже текло.

Перестали солдаты петь, что «Сталин плачет…» Разухабистая румынская мелодия их уже не веселила. Впрочем, они продолжали маршировать по утрам с оркестром по лужам красивым строевым шагом, как и прежде. Мы смотрели на них издалека, со своей парадной, пока шеренги солдат не скрывались за углом Бродской синагоги…

Соседи говорили о том, что в Одессу зачем-то приехал сам Антонеску и ходил по бульвару Фельдмана без охраны. Он был таким смелым? Или знал, что нашим партизанам не до него?

Город стал для деревенских ребят кормушкой, которую следовало ценить, но вдруг поступил приказ передать город немцам. Румыны стали интенсивно растаскивать городское имущество, которое до того не успели вывезти.

Что делать с винными складами? Оставлять немцам, которые их считали цыганами? Именно тогда полилось хорошее столовое вино по булыжной мостовой нашей улицы. Бочек с выбитыми пробками скопилось столько, что возникли заторы на перекрестках улиц, и румынские солдаты в поте лица упорядочивали движение тары вниз, к порту. Никому не запрещалось пить вино, которое лилось рекой, почти как в песне:

Лилось шампанское

Рекой лиловою…

Полилось по Жуковской, Польскому спуску, в порт к морю. Одесситы пили его, но веселыми не становились, и с тех пор кому-то иногда кажется, что веселая Одесса — это миф.

Бычки у берегов Одессы окосели, «залили слипы» стаи черноморской скумбрии… Без рыбы в городе стало совсем голодно. Ольга Каземировна по большому секрету рассказала тете Оле, что при немцах будет еще хуже.

Румынские власти на свои средства открыли и в короткое время восстановили почти все храмы в Одессе. В церквях поставили служить, как им казалось, своих приверженцев. А прихожане молились Богу, чтобы он помог Красной Армии победить «нечисть», в том числе и румынскую, молились за здоровье Сталина, одного из основных виновников разорения и уничтожения святых ценностей народа — Храмов…

Да, разобраться в логике событий бывает очень сложно.

## Немцы пришли

Затем в городе появились немцы. От них ожидали зверств, несопоставимых с румынскими, но прибывающие серенькие оккупанты казались вовсе не свирепыми. Им даже претил трупный запах, и они никого не вешали. Александровский проспект стал каким-то будничным, без веревок и без евреев…

Партизаны теперь не очень активно убивали оккупантов, а те прекратили облавы и убийства гражданского населения. Такие неожиданные перемены в притихшем городе не всем нравились.

Румыны стали менее заметными, торжественные парады по Пушкинской прекратились.

Немцы приняли от румынских властей почти неразрушенный центр города. Наши минеры, перед уходом войск, взорвали, что успели — причалы, рельсы, паровозы, повредили железнодорожный вокзал. На большее, видимо, не хватило времени. После румынской оккупации Одесса уже не могла называться еврейским городом, даже местечковым, хотя одесситов осталось в нем около трехсот тысяч. Более десяти тысяч евреев румыны уничтожили…

Продолжали осторожно действовать подпольщики. Они клеили на большие афишные тумбы с объявлениями о всевозможных гастролях листовки, или, как их тогда называли, прокламации. Иногда такие же листовки папа читал на Пушкинской, что было опасным занятием. Впрочем, у немецкой жандармерии не хватало стукачей, не успели обзавестись, наверное.

Солдаты вермахта разместились в тех же помещениях, в которых до них жили румыны. Дворники стали заметать дворы, тротуары, мостовые по несколько раз в день. Все повешенные при румынах были сняты с деревьев, и мертвецов на улицах не стало. Скорее всего, немецкие жандармы справлялись со своей работой без излишней показухи, и не было разговоров о ночных арестах…

Хотя был установлен комендантский час, молодые одесситы продолжали разворовывать имущество порта и грузы, используя канализационные тоннели. Если кто-нибудь при этом погибал, то мог считаться партизаном, хотя немцы их таковыми не считали.

Поселившийся в нашей квартире немецкий офицер сразу объяснил жильцам, что полы в коридоре и туалете должны быть всегда чистыми, и это его требование тщательно выполнялось. Одесситы, напуганные слухами о зверствах фашистов, ожидали массовых расстрелов, облав, стрельбы на улицах, и прятались по квартирам… Через несколько дней все успокоилось, и люди появились на улицах. Никто на них в дневное время не обращал внимания, как и на нас, малолеток.

Я не видел, чтобы немцы проверяли у взрослых документы, как это часто делали румыны. Те, кто прятался в катакомбах, сараях, кладовках, и не думали о том, чтобы выйти на свежий воздух даже ночью. Понимали, что если так нельзя было дразнить румын, то немцев нельзя и подавно… Единичные евреи, пережившие румынскую оккупацию, надеялись пережить и немецкую.

Новая администрация явно верила ушедшим румынским властям, работа которых была наглядно видна без слов.

Солдаты, которых наскребли в Германии для оккупации Одессы, вели себя скромнее румын. Противотанковые ежи не устанавливались. Подготовки к уличным боям и обороне центра города не наблюдалось.

В нашем доме был организован немецкий штаб. Все этажи заполнились офицерами и солдатами вермахта. Обысков не проводили, но во всем почувствовалось стремление к дисциплине и порядку. По отношению к жильцам нашего дома они вели себя спокойно, а на нас, пяти — шестилетних, вовсе не обращали внимания. Мы с Ленькой залезали в рабочие легковые автомобили, стоявшие во дворе, и никто нас не гонял. Иногда мы даже получали по несколько круглых леденцов и спокойно ходили по этажам внутри двора, в котором располагался штаб.

С приходом немецких войск продовольственный вопрос обострился, особенно для тети Оли. Немецкий офицер, поселившийся в нашей квартире, не нуждался в ее услугах, а делать что-то, кроме домашней работы, она не умела.

Ничего не умел и дядя Петя кроме тушения пожаров, но, несмотря на обилие таковых, мэрия им не уделяла внимания. Когда дома пылали, им просто давали возможность догорать.

Воду жильцы центра города носили ведрами с Польского спуска, набирая ее из бившего там ключа. Мыть коридоры, туалеты и кухни следовало каждую неделю, и тщательно: немец не любил дурных запахов. Соседки срочно отучились убирать по системе «срала — мазала», и даже стали поучать одна другую.

«Голь на выдумку хитра», и тетя Оля нашла подход к денщику нашего офицера. Дядя Петя принес два ведра воды, денщик собрал офицерские вещи, и сдал их в стирку. Тетя Оля выполнила привычную работу, и чистую, отутюженную форму сдала с улыбкой заказчику. Утром офицер надел свое обмундирование и заметил, что галифе поглажены не так. По всей квартире разнеслись немецкие ругательства.

Даже не зная языка, тетя Оля понимала, о чем речь, и не знала, куда прятаться, но догадалась разжечь угли для утюга. Пожилой денщик выскочил на кухню с брюками в трясущихся руках, не успев даже похмелиться. Он сам перегладил галифе, сердито поглядывая на тетю Олю, которая выложила рядом полученные вчера за работу сигареты и пачку печенья…

Толик почувствовал, что с мамой что-то происходит — он прибежал на кухню ей помогать. Денщик рассмеялся, вручил ему пачку печенья, отдал тете Оле сигареты, и все образовалось…

Сигареты дядя Петя продал моей сестре, которая поместила их в свой «ларек», и весело понесла вместе с другим товаром по Ришельевской: «сигареты, спички, детские яички…» — привычно запела она детским голосом, который был слышен в тишине через окно нашей комнаты. Одессе часто приходилось быть «тихим» городом…

Особенно голодно стало в городе в последний месяц немецкой оккупации. Властям было уже вообще не до местного населения. Прекратились челночные поездки наших мам по селам. Долго не было терпимого питания и потом…

Одесситы приспосабливались кто как мог, впрочем, как и всегда. Ленька от меня не отходил. Я был старше его и «воспитывал», иногда поколачивая. В воспитательном порыве я однажды перестарался, и Ленька пожаловался отцу. Дядя Ваня предложил ему измотать меня, предварительно раздразнив. Ленька выполнил установку и убежал к костелу. Я за ним, и дядя Ваня легко принял меня в свои объятия. Схватил за правое ухо, возможно, оно было более доступным, и прошипел в него: «Не обижай Леньку! Понял?!». Что было непонятного в его словах? «Понял» — ответил я сконфуженно.

Немцы, всегда находившиеся рядом с нашим домом, смеялись, а мне было не больно, но обидно… На наши взаимоотношения эта встряска никак не повлияла. Ленька продолжал за мною бегать, а я его «воспитывать».

Иногда пожилые немецкие солдаты подзывали нас, как-то жалостливо до обидного осматривали, и давали нам что-то, припасенное из кармана… Это могли быть леденцы или какое-то почти не сладкое печенье. Мы сгрызали такие подношения в мгновенье ока, как голодные собачата.

Взрослые в разговорах между собой повторяли очень часто: Гитлер, Сталин, реже Антонеску… Можно было понять, что Сталин воюет за нас, а Гитлер — нехороший человек, хотя на идише и по-немецки «гит» или «гут» вроде бы означает «хорошо»…

Зато сталь — это какая-то наша железяка.

Немцы, которых мы видели, были нестрашными, и бомбы, которые сбрасывали наши, нас не пугали. Мы были тогда маленькими Кощеями бессмертными. Тех, кто погибал под бомбами, мы не знали, и их плачущих на булыжных мостовых родственников тоже…

Не могу вспомнить ругани соседей во время оккупации. Они не только не разговаривали матом, но даже не бранились. Видимо, не было смысла кого-то оскорблять, унижать или злить. А уж тем более опасно было высказывать свое неудовольствие румынам или немцам: это походило бы, как стали говорить потом, на писанье против ветра.

Ни разу мне не довелось видеть читающего что-нибудь румына или немца, и никто никогда не толпился возле газетных стендов на безлюдной Пушкинской. Пустыми были и другие улицы города в течение всего светового дня. Люди стремились поскорее перебежать к магазину, лавке или к родственникам и не привлекать к себе внимания немцев. Только для нас, пацанят, был закон не писан, а после наступления комендантского часа мы засыпали голодным сном, таким, когда всю ночь сниться, что ты ешь, и не можешь наесться…

В некоторых комнатах немецкого штаба я видел офицеров, что-то писавших. Возможно, они иногда что-то и читали. Когда-то бытовало мнение, что немцы очень культурные…

О культуре я знал немного. Ничего не читали тогда и наши соседи — не хотелось им, наверное, умирать с полной головой мыслей и пустым желудком. Один мой папа ходил присматривать газеты на Пушкинскую угол Троицкой, а дома не читал ничего, только грустно курил…

Немецкие солдаты, ремонтировавшие автомобили, при появлении офицеров не вскакивали. Только те, кто не занимался делом — шофера, обслуживающий персонал, денщики — выравнивались в струнку и подобострастно выкидывали вверх правую руку, при этом выкрикивая что-то односложное, видимо «хайль».

Солдаты обычно толпились во дворе, подъезде, возле нашего дома, а в помещении штаба, на этажах, за большими столами сидели пожилые офицеры, о чем-то думали и внимательно что-то записывали.

На меня никто не обращал внимания. Я был соседом важного молодого лейтенанта, и привык ходить по штабу, как по коммунальной квартире, при этом не требуя почестей, наоборот, понимая, что не следует выпендриваться. В громадных комнатах, за перегородкой, стояло множество серо-зеленых ящиков, лежали винтовки, автоматы. Это «добро» меня не интересовало, да и весили такие цацки неоправданно много. Мне уже было около шести лет, и я представлял себе, как можно было бы побегать по улицам со «шмайсером», с криком «та-та-та», но у меня не было врагов, а с Ленькой играть в такие игры не получалось — мы были друзьями.

Однажды я забрел на третий этаж, где за ограждением сидел пожилой немец и заполнял от руки какие-то бланки за письменным столом. Рядом с ним стоял ящик с предметами, похожими на поршни, которые я видел при разборке автомобилей немецкими шоферами во дворе. Я понимал, что это чужое и брать нельзя, но не удержался и взял две гранаты (а это были они) с деревянными ручками и пошел вниз по лестнице пряча их за спину, видимо не очень успешно.

Когда я вышел во двор, где водители-немцы ремонтировали автомобили-амфибии, к своему удивлению увидел, что все они вдруг легли на землю по чьей-то громкой команде. Позади меня оказался денщик проживавшего в нашей квартире офицера, который вырвал у меня из рук гранаты и бросил их в стоявшую рядом большую пожарную бочку с водой. После этого он схватил меня за правое ухо и потянул, не обращая внимания на мой крик, через подъезд на третий этаж, к нашей квартире, где сдал меня из рук в руки моей маме, что-то ей объясняя, но я не вслушивался — очень болело ухо.

Было обидно еще и потому, что денщик иногда просил меня поставить цыганские романсы, и в пьяном виде «кайфовал», уткнувшись носом в патефон.

## Немка Берта и семья Заграев

На четвертом этаже в нашей парадной жила во время оккупации немка по национальности, Берта. При румынах она вела себя вполне пристойно, получала какие-то пайки, которые были положены немцам по крови — «фольксдойче», перед соседями «не выдрыгивалась», как говорят в Одессе, была почти незаметной.

С приходом немцев ее стало не узнать. Иногда она в компании немецких офицеров спускалась по парадной лестнице на улицу. К подъезду подгоняли несколько легковых автомобилей, и они с песней «Розамунда» выезжали в город, мимо развалок, объезжая воронки от бомб…

Гуляла Берта так, как будто приходит конец света. С соседями, рядом с которыми прожила почти всю предвоенную жизнь, продолжала вести себя как обычно. Могла подкормить колбасой, подпоить шнапсом того, кто ей попадался на кухне под хорошее настроение.

Жилось ей довольно весело. Кутили и гуляли у нее в комнатах все офицеры немецкого штаба, расположенного в нашем доме. Солдаты притащили откуда-то пианино, гитары и ударные инструменты. Иногда в квартире Берты пели, и офицер, поселившийся в нашей квартире, оставив шнапс своему денщику, отправлялся по вечерам «встряхнуться».

Я часто встречал немецких офицеров, поднимавшихся к Берте, или спускавшихся вниз по мраморной лестнице, но никогда не видел, чтобы кто-то из них шатался или бормотал что-нибудь заплетающимся языком. К тому времени я уже знал вкус вина, но, попробовав его, не видел себя со стороны, и кроме денщика никогда не наблюдал пьяных. Денщик же был добродушным и иногда угощал нас с Ленькой леденцами.

Прошли годы, кончилась война. Однажды я шел после занятий в школе по Ришельевской, по дороге купил продукты согласно списку, и размышлял об обеде. На фасадной стороне нашего дома что-то привлекло мое внимание, и я посмотрел вверх. На окне верхнего этажа, рядом с большим полукруглым балконом, стоял во весь рост мужчина, которого я видел до того очень редко. Его иногда выводила под руку соседка по дому по фамилии Заграй, и он медленно, при ее помощи, спускался или поднимался по мраморной лестнице…

Мужчина осмотрел улицу и прыгнул головой вниз, так, как ныряли взрослые ребята на массиве с дотика в море. Я не мог пошевелиться. На моих глазах летел человек с прижатыми к телу руками, совершенно спокойно. Мне стало страшно, и сразу раздался хлопок разбитой или лопнувшей так головы. Тело дергалось недолго. Когда я подошел к нашей парадной, рядом с подъездом уже собрались прохожие. Они окружили мертвое тело и о чем-то рассуждали. Мне не хотелось видеть то, что осталось от соседа, и я пошел домой. По мраморной лестнице навстречу мне сбегала с криком жена покойного, а за ней спускались соседи.

Позже, из разговоров между жильцами дома я узнал, что самоубийца был евреем, которого жена с приходом оккупантов замуровала в маленькой комнате, и по ночам передавала через балкон еду, забирала ведро. Питание было скудным. За три года оккупации мужчина заболел туберкулезом. Семья радовалась, когда Одессу освободили. Они надеялись, что им будет оказана помощь. Откуда им было знать, что и на них будут распространяться законы о «бывших на территории, временно занятых врагом…» В том, что он не сможет выжить сам и не поможет выжить жене, сосед, видимо, уже не сомневался.

Семья с украинской фамилией Заграй проживала до войны над квартирой, в которой поселилась Ольга Каземировна. В соседних комнатах поселилась Берта.

Муж, Миша, сменивший еврейскую фамилию на украинскую, думал, что его не смогут коснуться репрессии оккупантов. Вовремя в происходящем разобралась его жена Нина. Она закрыла мужа в маленькую комнату с окном, выходящим на улицу, наклеила остатки обоев на дверь, и оказался Миша в камере-одиночке на все время оккупации.

Это была не простая камера. В ней нельзя было даже свободно ходить, чтобы не заскрипели половицы, нельзя громко разговаривать, чтобы никто не услышал, нельзя смотреть в окно, и много чего еще было нельзя…

Оставалось Мише вспоминать довоенное время, когда тоже многого было нельзя, и тоже многого следовало опасаться, но все же жилось легче.

О многом нельзя было говорить, даже с евреями, иногда не следовало доверять свои мысли и родственникам, но можно было ходить на пляж…

Миша любил море, любил дотик на Массиве, с которого мастерски прыгал после короткого разбега по горячей цементной крыше.

Нина рисковала ежедневно. Прятать еврея было смертельно опасно. В большой комнате она проживала с больной мамой. Никогда они не жили богато, а кормить семью кто-то должен. Ночью через окно Нина передавала мужу какую-то еду, которую непонятным образом приобретала, и забирала ведро, которое нужно было выносить в туалет.

Несколько раз румыны делали обыск в комнате, но ничего не находили. Они не имели опыта наших чекистов…

С приходом немцев у Берты начались ежедневные попойки с песнями на немецком языке и танцами. Берта выносила на кухню грязную посуду и давала работу Нине по уборке помещения и мойке сервизов, ножей и вилок. Нина нагревала на примусе воду, тщательно выполняла работу, когда однажды веселая Берта предложила ей составить компанию:

— Как это по-украински? — выпьем, щоб дома не журились?

Берта поставила на кухонный стол початую бутылку французского коньяка, сама разлила по большим фужерам.

— Куда делся твой Миша? — как бы между прочим спросила она, и залпом выпила.

Нину бросило в холод, потом в жар.

— Миша… уехал… — улыбнулась она и тоже залпом опорожнила свою посуду.

Берте несколько раз немецкие офицеры предлагали переселить соседку с ее мамой в свободные комнаты, но она, очевидно, догадывалась о Нининой тайне. Под любым предлогом она отказывалась улучшать свои жилищные условия, которые и так были шикарными. Не хотела она брать греха на душу…

Позже Берта предложила соседке вполне пристойную работу: «Нина, тебе все равно нечего делать, так помогай мне накрывать столы для господ офицеров».

Это был шанс, от которого тогда никто бы не отказался. Берта, как и все немки, не была транжирой, она выделяла за работу Нине продуктов столько, чтобы та с матерью не ожирели, и строго следила за расходованием продовольствия, принесенного гостями. Немецкая бережливость и точность были у нее в крови.

Нина не выбрасывала и того, что оставалось в тарелках после оргий. Она соскребывала все с посуды перед мойкой. Во время румынской оккупации с едой у Заграев дело обстояло намного хуже.

Миша проветривал комнату только поздно ночью. От страха и почти полного отсутствия свежего воздуха в остальное время суток он заболел. Громко кашлять ему тоже было нельзя…

Во время налетов наших бомбардировщиков, когда чуть было не погибли мы с Ленькой, булыжник от мостовой влетел в окно Мишиного убежища. Выбило раму, и воздуха стало хватать. Закрыть оконный проем было нечем, чтобы не привлечь внимания.

Случилось это в начале апреля, а через несколько дней и Берте, и офицерам стало не до соседей.

Освобождение Одессы Заграи таки встретили на своем балконе, ни от кого не прячась, но ходить без помощи жены Миша уже не мог…

Берта знала, что недолго музыке играть. Она гуляла по-русски, видимо, надоела ей постоянная нищета, и показалось ей, что можно прожить хоть какое-то время так, чтобы было, что вспомнить. Как говорили тогда — сорвалась с цепи.

Берту немцы, как могли, спасали. Добралась она до Латвии, где у нее были когда-то родственники, работала в каком-то рыбном порту. До поры, до времени… Пока не сказала кому-то чего-то лишнего. Подвело ее долгое и близкое общение с культурными офицерами. «Простые» советские люди такого не прощали.

Я, конечно, не понимал тогда, как именно Берта поднимала немцам боевой дух, и не только дух, но она-то знала — за такое по голове не погладят.

Берта не интересовалась политикой, по ее вине никто не пострадал, но, когда немцы отступали, она уехала вместе с ними.

В 1948 году ее под конвоем привезли из Латвии. Всех жильцов нашего дома вызывали в Водный отдел МГБ, расположенный на Приморском бульваре. Никто не знал, зачем вызывают. Все боялись идти туда. Моя мама взяла меня с собой, может быть, думала, что это ее может спасти. Но оказалось, что людей вызывали как свидетелей.

Соседи подтвердили, что немка Берта вела веселый образ жизни во время оккупации, но больше сказать ничего не могли. Затем состоялось закрытое заседание суда в том же помещении.

Мама пришла домой и рассказала, как проходил процесс. Мне ее рассказ показался забавным, и я его запомнил. Все соседи подтвердили факт гулянок в квартире Берты. Вызвали свидетелем нашего соседа сверху — дядю Гришу, не помню его фамилии.

Судья спрашивает: «Свидетель, что вы можете сказать по данному делу?». Дядя Гриша молчит, не знает, что сказать. Судья: «Объясните суду, как она жила, плохо ей было или хорошо?». Реакция та же, затем дядя Гриша понял, чего от него хотят: «При немцах ей было хорошо, а вот теперь — плохо».

Берте дали десять лет. Больше я о ней никогда ничего не слышал.

Позже, во время работы в таксометрном цехе, я был свидетелем разговора двух ветеранов: Бондарский Яков Григорьевич отвоевал во фронтовой разведке всю войну, а Калюжный Борис Григорьевич просидел в тыловых штабах радиооператором на ключе.

После капитуляции Германии Калюжный остался служить в наших войсках в звании младшего лейтенанта и сумел привезти в Одессу вагон трофеев. Однажды он по пьянке стал перед нами хвастать, как ему это удалось, и сказал, что война для него была лучшим временем жизни.

Бондарский Яков Григорьевич молча вспоминал, какой война была для него, и вдруг с силой ударил Калюжного в подбородок, отчего тот упал на верстак и закричал: «На, бей меня еще, меня и не так били!» Так у меня на глазах прояснилось, что и евреи очень по-разному пережили войну, даже в войсках.

Борис Григорьевич не мог не вспоминать свою службу в Германии. Рассказывал о том, как при освобождении наших пленных он участвовал в составе «тройки», занимавшейся их сортировкой. Если кому-нибудь из «тройки» не нравилась «морда лица» освобождаемого — его тут же отправляли по этапу и давали срок, не разбираясь в том, как и почему он попал в плен.

## Почему не взорвали наш дом?

Наш дом № 19 по улице Жуковского подлежал взрыву, немецкие саперы уже готовились. Однако жильцы упросили ответственного за это мероприятие офицера не делать этого. Конечно, немцам проще было взорвать свой штаб вместе со всем имуществом и документацией, а жильцов просто выгнать на улицу. Произошло то, чего трудно было ожидать от дисциплинированных офицеров вермахта. Немецкие солдаты сами выносили имущество штаба и папки с документами на мостовую, напротив нашего дома.

Несколько дней они жгли громадный костер, куда все время подносили и бросали обмундирование, белье, канцелярские принадлежности. Возле костра стоял часовой, который никому не позволял что-либо брать из того, что подлежало уничтожению.

В это время по городу стали ездить на низкорослых лошадях «калмыки», как их называли одесситы. Они были одеты в немецкую солдатскую форму. Один из них при мне подъехал к часовому возле костра и жестами показал, что ему нужно белье. Часовой позволил ему взять комплект нового белья, калмык попросил чего-то еще. Немец пригрозил автоматом и сказал «вэк», что означало (я узнал позже) «вон».

То, что руководство штаба взяло на себя ответственность за перенесение места взрыва на соседнее здание, более чем удивительно. Я и теперь не понимаю, почему они это сделали. Но было именно так.

Школа № 117 еще не была взорвана, она пустовала. Парты и стулья во время оккупации пошли не растопку. В классах кое-где валялись тетради и учебники. Я ходил по пустым помещениям, искал книжки с картинками. Двери были открыты настежь, окна без стекол. Разруха была как в порту, но масштаб другой.

Школу взорвали вместо нашего дома, и я видел, как это происходило. Немцы подвели какие-то шнуры, потом внутри что-то ухнуло. Из всех окон и из-под крыши вырвалось пламя. Наверное, они заложили в здание какое-то горючее, потому что огонь пылал очень долго. В итоге от школы остались только наружные стены. Межэтажные перекрытия провалились вместе с остатками крыши вниз.

Перед бегством из Одессы немцы-резервисты взрывали предприятия связи: городскую телефонную станцию, на развалке которой в доме № 23 по ул. Жуковского мы играли в войну, взорвали центральный телеграф на Садовой… Взрывали они промышленные предприятия, и то, что осталось от порта.

Оставили немцы нетронутыми самые ценные здания города. Уцелел Воронцовский дворец, в котором вскоре после освобождения города стал работать Дворец пионеров.

В здании Думы заработал горсовет.

На Бебеля 12, где была сигуранца, разместилось областное управление МГБ.

На Жуковского 15 открыли среднюю школу № 4.

В помещении немецкого штаба (Жуковского, 19) после приходя наших заработала швейная фабрика «Молодая Гвардия».

Остались целыми здания банков, Пассажа, всех театров и кинотеатров, музеев, библиотек, церквей… Не взорвали немцы и круглый дом на Греческой — самый крупный клоповник города и гордость Одессы.

О том, что немцы минировали Оперный, у меня свое мнение…

Порт смотрелся с бульвара Фельдмана грудой искореженного металла. Целой была только небольшая церковь напротив Потемкинской лестницы, рядом с причалом. В ней разместился отдел охраны порта МГБ. Железнодорожный вокзал был разрушен в начале войны немецкой авиацией или нашими саперами. При румынах я ходил по его перронам с мамой.

От советских бомбардировщиков пострадали, к сожалению, в основном жилые дома, развалин было в центре города очень много. Наверное, наши летчики были очень молодыми…

## Артисты-подпольщики

Вспомнился послевоенный миф о том, как в последние дни немецкой оккупации города артисты оперы и балета спасли здание театра от взрыва. Они сумели напоить подразделение немецких саперов вместе с их офицерским составом, и те не смогли привести в действие свои взрывные устройства. Версия весьма привлекательная, но сомнительная. Она могла быть кому-то нужной и даже полезной. Но следует подумать над несколькими вопросами:

Как можно напоить саперов, которые получили приказ о выполнении взрывных работ?

Какие немецкие офицеры не стали бы выполнять приказ командования за выпивку?

Был ли вообще такой приказ?

Следует учесть также известную до избитости фразу о том, что сапер ошибается только один раз и только самоубийца станет проводить подготовку к взрыву спьяну или с похмелья.

При этом невыполнение приказа на войне карается расстрелом на месте. Конечно, можно предположить, что обаятельные артистки-одесситки просто околдовали немецких взрывников, которые, стосковавшись по женскому обществу, напились до безумного состояния. Однако верится с трудом.

Кстати, советские саперы перед заданием не пили даже принятых в войсках боевых ста грамм.

Вывод напрашивается сам: немцы не имели намерения взрывать Оперный театр, так же, как не хотели взрывать дом на Жуковской № 19, где размещался их штаб. Не стали оставлять жильцов этого дома без крыши над головой.

Безусловно, на первой стадии войны, обманутые фашистской пропагандой, опьяненные первыми ошеломительными успехами, немецкие солдаты действительно зверствовали. После Сталинграда они уже были не те. К тому же почти всех цыган, евреев, коммунистов уже уничтожили румыны, которым поручили эту грязную «работу».

Ожидание неизбежного возмездия определяло отношение оккупантов к городу и его жителям в марте-апреле 44-го.

А что касается артистов оперного, то только за то, что они играли в театре во время оккупации их ждали очень крупные неприятности после освобождения города. Этот факт биографии можно было в то время приравнять к коллаборационизму.

При этом было понятно, в том числе и чекистам, что репрессировать всю труппу театра не выгодно со всех сторон — и артистов мало, и предателей как-то многовато получалось. А потребность в мастерах оперы и балета была, и немалая. Война унесла много жизней, в том числе среди творческой интеллигенции.

Проще было сочинить миф о спасении театра мужественными артистами-подпольщиками. Артистам тоже, очевидно, возражать не приходилось. Альтернатива была невеселой. Конечно все это — просто умозаключения, но напрашиваются именно такие выводы, в том числе и исходя из других случаев советского мифотворчества.

Вспоминаются мраморные лестницы нашей парадной, освещенные большими, разноцветными витражными окнами. Мраморные же подоконники подчеркивали красоту здания изнутри. За время оккупации многие окна были повреждены. После освобождения города по мраморным лестницам переносили тяжелую мебель из разных коммунальных квартир хозяева или покупатели. Ступени побили, а жалко… Большие, красивые когда-то входные двери обветшали. Немцы пожалели наш дом-красавец, но он остался бесхозным…

Потом в городе появились военные в черных мундирах с массивными бляхами на груди. На шее у них висели автоматы, иногда рядом с ними шла красивая собака-овчарка. В общем, они выглядели так, как показывали фашистов позже в нашей кинохронике и художественных фильмах. Они держали себя обособленно и, видимо, чувствовали себя настоящими хозяевами города.

Войска карательного назначения могли пустить в ход оружие без предупреждения, и даже солдаты вермахта относились к ним настороженно. Население избегало встречи с эсэсовцами на улицах города. Впрочем, на детей они, как и другие солдаты до них, внимания не обращали. Мы инстинктивно чувствовали исходящую от них угрозу и убегали, даже не соображая, почему.

Румынские солдаты и офицеры из города исчезли, как будто их и не были вовсе. По улицам ходили разрозненно только немецкие военнослужащие. Их было меньше, чем до того румын, но жители, в том числе и наши соседи, насторожились: возможно, кто-то посчитает, что румыны еще недостаточно «очистили» город. В нашем дворе немецкие солдаты занимались подготовкой техники к дальней дороге.

## Наши соседи — немцы

Офицер, проживавший в нашей коммунальной квартире, был очень аккуратным. Возможно, он происходил не из простой семьи. Лейтенант всегда одевался в свежевыстиранное и тщательно отглаженное обмундирование, которым очень гордился. Из своей комнаты он меня не выгонял, и я видел, как денщик тщательно чистил, гладил и аккуратно развешивал в шкафу его униформу. Офицер был молодым, возможно, недавно окончил военное училище, а его денщик был довольно пожилым и очень к нему услужливым.

Немцы вели себя так, как будто они не ожидали никаких перемен на фронте, и расположились у нас надолго.

Иногда, когда у соседа-офицера было хорошее настроение, и он разговаривал со мной на ломаном русском языке. Спрашивал, кем я хочу быть, когда вырасту.

Перед моими глазами возникали румынские офицеры, сидящие на лошадях в красивой зеленой форме с аксельбантами и саблями. Особенно мне нравились их высокие изогнутые фуражки, на красных околышах которых красовались большие разноцветные кокарды. От такой формы просто невозможно было «глаз отвесть» И я всегда отвечал: хочу быть румынским офицером.

Почему румынским? — удивлялся он, и я замечал недовольство «соседа» моим ответом. Мама подсказывала мне потом: «скажи, что немецким». Однако мне так нравилась форма румынских офицеров, что по-другому я ответить не мог. Перед глазами возникали четкие шеренги румынских солдат, марширующих по бульвару Фельдмана и сидящие на конях офицеры в петушино-цыганском обмундировании. Оркестр исполнял марш. Еще они торжественно стояли при исполнении румынского гимна: «Та… та… та… — корона романа…»

Немецкие же офицеры были одеты более элегантно, но как-то очень уж сдержано. Их форма была серенькой. К тому же немцы не ходили колоннами по Пушкинской и ничего не пели, чем, в моих глазах, сильно проигрывали.

Высокий красавец, румынский офицер, проходя мимо подъезда нашего дома, не заметил выходившего из штаба немецкого офицера. Немец, без всякого объяснения, влепил румыну звонкую пощечину. «Брат по оружию» поплелся молча вниз по Жуковской…

Более двух лет я видел их сидящими на красивых лошадях, а оказалось, что они не такие уж и важные! Их красивый наряд с высокой фуражкой и яркой кокардой не защищает их от пощечин немецких офицеров, одетых в серенькие мундиры, если они не успевают отдать честь… Это открытие было для меня неожиданным.

Стало понятно, почему наш постоялец так не хотел, чтобы я когда-нибудь надел униформу румынского офицера. К тому же я был блондином, хоть тощим, но веселым, что в понятии немца, видимо, относило меня к нордическим племенам. На румына я был явно непохож. Постоялец, возможно, предвидел появление в Германии многочисленных арийцев-дистрофиков, похожих на меня блондинов со светлыми глазами…

В комнате, где проживал немецкий офицер, было всегда очень чисто — уборкой занимался его денщик. Возле окна стоял большой канцелярский стол, на котором лежали письменные принадлежности, зеркало и красивая темная коробка из дерева. В ней находились средней величины сигары.

Немец курил сигареты, а сигары, наверное, ему о чем-то напоминали. Коробка была разрисована какими-то картинками с разноцветными неграми. Такие люди меня удивляли, но вопросов у меня не вызывали — мало ли что бывает после пожара, например. Внутри была проложена серебристая фольга. Сигары были явно очень дорогими и вряд ли их присылали фронтовым офицерам в качестве пайка.

Комната на ключ никогда не закрывалась. Иногда, несмотря на запрет родителей и сестры, я туда заходил, ничего не трогал, однако эту коробку не исследовать я не мог. Очень уж она была красивой.

Немец по каким-то признакам понял, что кто-то прикасался к его сигарам и с пистолетом в руке предупредил маму, чтоб это было в последний раз, и чтобы никто не смел заходить в его комнату, когда его нет. Иначе будет плохо.

Офицер по природе не был злым, и часто, когда ему нечего было делать, разговаривал с соседями по квартире на политические темы. Иногда при этом присутствовали и мы с Ленькой.

Ни соседи, ни, тем более, мы с Ленькой не могли повлиять на ход геополитики, однако немцу хотелось поговорить с «нейтральной аудиторией». Говорил он о том, что коммунисты ничем не лучше фашистов, при этом показывал советские деньги, на которых был выбит лозунг «пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Это был главный аргумент, в его понимании, в пользу агрессивности коммунистов.

Рассказывал он также и о том, что в Германии при Гитлере люди стали жить очень хорошо, и мебель у них значительно лучше, чем у нас. Хотя и в фашистской идее он, очевидно, стал сомневаться. Офицер, образованный военный, наверняка понимал, что дело на всех фронтах идет к невеселой развязке.

Он со своим денщиком мало напоминали агрессивно наступающих немцев, которых мы видели в дальнейшем в хроникальных фильмах, в том числе и трофейных. Это были люди, потерявшие веру в свою победу, они стали задумываться над тем, кто же такой Адольф Гитлер, и что их ждет.

Безусловно, они знали даже из фашистской хроники, сколько горя они принесли людям и ожидали возмездия. Однако они давали присягу и делали свою «работу», хотя прежней уверенности в правоте своего руководства у них уже не было.

К 1944 году злости к населению Одессы немцы уже не проявляли, мысленно примеряя на свои семьи ситуацию, в которой оказались наши люди. У них были основания считать, что и их никто жалеть не будет. По улицам города не ходили бравые немецкие солдаты и офицеры с закатанными рукавами, каких позже показывали в документальных фильмах, и спеси не было.

Немецкие солдаты и офицеры, жившие в нашем доме, не были злыми. Это была, видимо, техническая часть со своим штабом, укомплектованным резервистами. Вели они себя дисциплинировано, оставаясь гражданскими людьми, хоть и одетыми в униформу. Вначале, когда немцы сменили румын, соседи их боялись, но, когда увидели, что солдаты никого не убивают и не грабят, успокоились. Резервисты явно уже не верили в победу своих войск.

## Похороны хорошего летчика — Плохого

Незадолго до освобождения Одессы над городом был сбит советский истребитель. Летчик погиб. Немцы объявили по радиоточкам о времени и месте его похорон.

Хоронили пилота торжественно, как героя, которого они уважают, хотя он и был их противником. Впереди процессии, медленно двигавшейся по Пересыпи, несли его ордена и медали. Очень много жителей оккупированного города пришли проводить в последний путь советского летчика, отдавшего жизнь за освобождение Одессы. К месту захоронения, садику на Ярмарочной площади, шли люди со всех районов города.

Моя сестра со своей подругой и другими одесситами участвовала в процессии и рассказывала о том, что многие, шедшие за гробом Плохого боялись, что это — провокация и немцы планируют перестрелять людей, пришедших на похороны летчика-героя. Такое предположение, кстати, не было совсем уж беспочвенным. Однако, этого не случилось. Во время похоронной процессии на Ярмарочной площади немцы могли расстрелять тысячи одесситов, хватило бы и четырех пулеметов, бежать было просто некуда. Немцы явно не планировали такого расстрела.

Сбили трижды орденоносца лейтенанта Михаила Максимовича Плохого конечно, не 9 апреля 1944 года, как это указано на памятнике по приказу, видимо, советских органов. Война, в том числе и пропагандистская, сместила даты. Летчик погиб раньше: за день до бегства немцам было бы не до его похорон. И похоронили бы его, как и всех солдат и офицеров, отдавших свою жизнь за освобождение Одессы на Втором Христианском кладбище.

Вероятно, есть еще живые одесситы или их потомки, которые могут дополнить воспоминания очевидцев похорон советского летчика.

Как бы там ни было, прах пилота-истребителя Плохого и памятник ему и поныне находятся на своем месте. Там и по сегодняшний день всегда лежат живые цветы. Одесситы его не забывают.

## Весна 1944-го

С Толиком Титом мы иногда приходили на почти пустой бульвар Фельдмана. Залазили на чаши памятника Пушкину, осматривали гавань.

Нас не удивляло, что порт похож на развалку — мы его другим не видели. Возле уцелевших причалов стояли корабли. Какие из них были немецкими, румынскими или итальянскими, мы не различали. Иногда там прогуливались немецкие солдаты и офицеры.

На всем бульваре была только одна развалка, позади Дюка, где позже размещались пассажирские морские кассы. На склоне немецкие солдаты колдовали возле зениток. Нас никто не гонял. На советских разведчиков мы не были похожи.

Во время немецкой оккупации в Одессе появилось большое количество автомашин различного назначения. В центре двора стоял черный BMW, двери которого не запирались на ключ, и я, когда хотел, садился на место водителя. В кармане на дверце всегда лежали хромированные бочонки с центральными вставками, которые при нажатии рычажка прыгали. Возможно, это были дверные защелки. Я их несколько раз забирал, но они снова появлялись.

В кабине пахло кожаной обивкой сидений, было приятно представлять себя водителем и гудеть себе под нос. Однажды я нечаянно нажал на сигнал. Подошел солдат, потрепал мой чубчик. Рядом оказался денщик офицера, нашего постояльца. Солдаты о чем-то весело поговорили, закрыли дверцу и пошли, как будто меня нет. Потом солдат вернулся, дал мне запакованный в бумагу столбик круглых леденцов, и опять закрыл дверь.

Усидеть в машине я не мог, побежал домой, дал несколько леденцов сестре и маме. Постучал в комнату к Леньке. Там никого не было, и порцию, которую я ему выделил, незаметно для себя съел. Вместо леденцов подарил Леньке, когда он появился, хромированный бочонок. Несколько таких «пушечек» сохранилось у меня до учебы в школе…

Возле школы № 117 размещались многоместные автобусы с набалдашниками возле фар. По мостовой с грохотом проезжали повозки, запряженные очень большими лошадями. Их называли немецкими. Таких битюгов я до того не видел.

В нашем дворе стояли рядами автомобили-амфибии и несколько легковых BMW. Солдаты занимались их ремонтом. Никто из них не носил оружия, кроме офицеров: оно мешало при работе.

Денщик нашего соседа-постояльца был очень общительным и веселым немцем. Он очень любил выпить и знал всех соседей нашей парадной поименно. При этом даже в самом подпитом состоянии ни с кем не бывал груб. То, что он чуть не оторвал мне ухо, было лучше, чем если бы я начал экспериментировать с гранатами. Тогда на него обижался, а теперь — нет.

Период немецкой оккупации казался менее кровавым. С деревьев были сняты почерневшие трупы, не стало слышно стрельбы, по крайней мере, в центре города. Солдаты относились к малолетним детям дружелюбно. Возможно, глядя на нас, они вспоминали о своих малышах, которых уже ожидала такая же незавидная участь. Война есть война, и немецкие солдаты не были овечками в униформе, но они уже не были в своем большинстве и бездумными убийцами.

Город стали бомбить и довольно часто. Многие дома в центре горели, о других районах я не знал. Особый запах горелых жилищ распространялся по улицам. Он не выветривался никаким ветром с моря и ощущался даже тогда, когда дома уже не горели.

Развалин возникло много на всех кварталах и внутри их: на Жуковской, Ришельевской, Екатерининской, Еврейской и других улицах.

Не знаю, кто нас надоумил собирать осколки, но мы собирали их после каждой бомбежки и радовались, когда они были еще теплыми. Казалось, что мы бегали за каким-то чудом. Вот она, «везуха»! И в головах наших даже не возникал вопрос, куда и зачем бежим. Летит самолет, свистят бомбы. Куда они попадут? Успеем увидеть, куда полетят осколки? Когда бомбы попадали на тротуары или мостовую, в воронке из земли торчало много теплых осколков…

Взрослые говорили, что бомбят наши самолеты. Кто такие «наши» я не знал и не придавал этому значения. Немецкие водители стали интенсивно готовить свои автомобили к эвакуации. Возле машин стояли открытые банки со смазкой, они были красивыми и ярко-разноцветными. Водители набирали в большие металлические шприцы их содержимое и залазили под автомобили. Нам было интересно заглядывать под днище и смотреть, как они работают.

В последний месяц оккупации Одессу бомбили настолько часто, что во время налетов жители даже никуда не уходили из своих комнат. Бомбы свистели по-разному, и нельзя было угадать, куда они попадут. Пацаны бегали по улицам под этот свист и слушали взрывы, не воспринимая их, как что-то опасное.

Возможно, наши самолеты бомбили город без какой-либо системы, сбрасывали бомбы в центр города «на удачу», которая улыбалась чаще немцам, чем тем, «кто был на территории, временно занятой врагом…»

Везло немцам, проживавшим в нашем доме по улице Жуковского 19, и в № 15, зато горели под ярким южным солнцем обычные жилые дома. Сейчас несложно подсчитать, сколько тогда появилось развалок: на их месте построены «сталинки».

Погибли, в основном, те, кто не смог эвакуироваться при отступлении наших войск в начале войны — старики, дети, инвалиды, женщины, пережившие оккупацию. Возможно, кто-то и думал о детях и женщинах, но, видимо, главенствовала мысль вождя, что «русские бабы еще нарожают».

В то время обстановка в городе оставалась голодной и непонятной даже нам, малолетним…

Несмотря на то, что боевые действия явно приближались к Одессе, я не видел пьяных немецких солдат, а тем более, офицеров на улице или в нашем дворе. Позволял себе такое удовольствие только денщик жившего в нашей коммуне офицера. Но он по возрасту был старше остальных немцев и, наверное, поэтому вел себя свободнее. Да и обязанности у него были менее военные, чем у остальных. Возможно, по другим я не мог определить их «веселое» состояние, что тоже вероятно.

Несколько позже денщик стал пить все чаще. Однажды он совсем «развеселился» и стал бегать по квартирам и парадной лестнице, поливал всех встречных по дороге одеколоном из пульверизатора. Денщик громко кричал: «кригге (война) капут, Гитлер капут!», поясняя, что он едет в Германию к своим «киндер».

Хорошо, если ему это удалось, хотя вряд ли он смог избежать участи большинства своих соотечественников. Денщик даже не был похож на солдата. Он выглядел скорее, как официант, но не очень угодливый. Для этого пожилого человека война была морокой, она лишила его привычной порции пива, заменив его горькой водкой и всякой дрянью. Никак ему не хотелось, чтобы она докатилась до его семьи. Денщик ожидал, что это безобразие вот-вот закончится после всех поражений немецких войск на Востоке — Гитлер капут, война капут…

А война будет еще больше года косить веселых и умных, злых и глупых, хитрых и наглых, а больше всех она уложила в землю самых смелых, добрых и порядочных людей, о которых писали в графе извещения о смерти: «место захоронения — неизвестно».

Немцы, сменившие румын, не были благодетелями, они, по-видимому, ожидали от высшего командования каких-то действенных изменений в политике, направленных на прекращение войны, уже проигранной, вплоть до свержения Гитлера. Многие понимали, что не самым худшим вариантом для них будет плен, а некоторые ожидали скорого окончания войны и встречи с родными… Мне приходилось видеть таких немецких солдат и офицеров.

## Везуха…

Школа уже не горела. Рядом с ее остовом немцы подожгли большой пассажирский автобус, видимо, починить его было невозможно. Рядом валялись фары от него, которые мы с Ленькой подобрали, затем влезли в машину, разместились на сиденье водителя и стали рулить, жужжа себе под нос.

Начался налет авиации, но мы ни на что не обращали внимания. Из горящего автомобиля мало, что можно было видеть, и только Ленькина мама тетя Дозя своим криком заставила нас выскочить из него.

Мы быстро перебежали дорогу и влетели в парадную дверь нашего дома, которую тетя Дозя успела закрыть на задвижку. Раздался взрыв фугасной бомбы, дверь рванулась, но удержалась на месте.

От автобуса осталась только рама, а рядом с ней образовалась воронка глубиной 5–7 метров и диаметром примерно пятнадцать. Так первый раз нам повезло, но мы этого еще не понимали.

Налеты на город становились все интенсивнее, и нам надоело собирать осколки бомб. Мы бегали смотреть на пожары. Видели плачущих женщин, собиравшихся возле горящих домов, но не воспринимали их горя близко. Чужую беду мы привыкли видеть постоянно.

Во время очередной бомбежки у меня на глазах бомба попала в дом, расположенный на улице Жуковского, куда-то между дворами № 20 и 22. Дом загорелся сразу в верхней своей части. Я побежал к нему, туда же подошли другие пацаны и несколько взрослых. Из парадной стали выходить уцелевшие жильцы, они выносили, что могли, а некоторые выводили стариков и детей с обезумевшими глазами. Они еще не поняли, что остались без крыши над головой.

Крыша горела ярко и сильно дымила. При этом ярко светило солнце, придавая картине какую-то абсурдную нереальность. На второй день я зашел в этот дом. Первые два этажа не сгорели.

Двери первого этажа были выбиты, окна разбиты. Судя по всему, это было служебное помещение, в котором находилась какая-то телефонная аппаратура. С нее легко снимались предохранители, и я их вытащил просто так, чтобы поиграться. Мусора было много.

В небе висели штурмовики и истребители с красными звездами на крыльях. По всему чувствовалось приближение Красной Армии. Немецкие солдаты не суетились и не паниковали. В городе их становилось все больше.

Соседи из квартир не выходили — сидели по своим комнатам тише, чем при отступлении советских войск в 41-м. По радиоточкам все время передавали какие-то распоряжения. Или расстреляют, как угрожают в приказах, или разбомбят…

Мы с Ленькой ничего не боялись, мы не знали ни боли ранений, ни страха смерти. На наших глазах люди умирали, кому-то было больно, горели чьи-то дома. Солнце ярко освещало улицы, заполненные муравейником немецких войск с техникой и лошадьми, к которым было страшно подходить. На нас, как и до начала этого столпотворения, никто не обращал внимания.

Постепенно количество немецких солдат, автомобилей и лошадей стало заметно уменьшаться. Такие же малолетки, как и мы бегали по улицам, смешиваясь с жильцами горящих домов, которые никуда не уходили со своих пепелищ. Бомбы продолжали свистеть, гудеть и взрываться. А через несколько дней немецких автомобилей в нашем дворе не стало.

Но бомбежки продолжались. Кто и зачем бомбил Одессу еще несколько дней, когда в городе оставалось только мирное население, до сих пор для меня непонятно. Иногда я слышал мнение наших военных историков, что это бомбили немцы, а не советские самолеты…

Жильцы разрушенных домов собирали, что могли, из своего имущества в развалинах, и, вместе с уцелевшими родственникам и соседями, перебирались в пустые квартиры соседних домов. На новом месте обитатели коммунальных квартир обычно показывали им комнаты, в которых до оккупации проживали еврейские семьи, повешенные или расстрелянные румынами. На это жилье претендовать было больше уже некому.

Дети, ставшие сиротами после бомбежек, ютились в подвалах и на пепелищах домов, где раньше жили с родителями. Никто не мог позволить себе «повесить на шею лишний рот». Такими голодающими оборванцами никто не интересовался и после войны. Они дичали и организовывались в шайки.

Среди безлюдных разбомбленных домов Одессы в конце оккупации стали появляться тихие умалишенные дети. На Ришельевской и других центральных улицах, они бродили спокойно мимо немецких патрулей, которые делали вид, что их не замечают. Иногда мы натыкались на сошедших с ума подростков, бросавшихся к нам и спешивших что-то объяснить. Мы их раньше не видели и не знали, но они рассказывали нам, как их зовут — Шика, Чика…

Бессмысленное выражение глаз пугало, а кротость привлекала, и мы выслушивали их бессвязные слова… Шика показывал на развороченную груду камней, лежавших на углу Полицейской и Ришельевской и, заикаясь, объяснял, показывая пальцем, что это — его дом, и там — его мама. Несчастные искали сочувствия, но редкие прохожие бросались от них в стороны, опасливо оглядываясь.

У «счастливчиков» иногда находились родственники, и их кое-как подкармливали. Тех из них, кого не подстрелили немецкие жандармы, кто-то старался спрятать, и они умудрились пережить оккупацию. Далеко от своих развалок они не отходили.

К их присутствию привыкли позже инвалиды войны, оказавшиеся в таком же материальном положении. Они «отрывали от души» немного разливной дрянной водки из сочувствия к этим обездоленным, и умалишенные от такой заботы постепенно спивались…

Наверное, инвалиды обучали наиболее музыкальных сумасшедших песням, которые не умели или боялись петь сами. Хотя бояться им, казалось бы, уже можно было отвыкать.

Куда-либо ездить за продуктами мама больше не могла. Никакие поезда, кроме военных эшелонов, никуда не ходили. В городе с продовольствием стало совсем плохо. Однажды сестре Дине повезло, она поймала на Ришельевской голубя с поврежденными лапками (наверное, при бомбежке), который не мог взлететь. Добытую птицу она принесла домой, мама ее зарезала, ошпарила, распотрошила и сварила бульон. Мы так радовались, как будто произошло чудо, и мы попали на праздник. Дома у нас кроме соли ничего не было.

Через несколько дней город бомбить перестали. Самолеты не летали, стало очень тихо, и в этой тишине мы с Ленькой стали обходить открытые квартиры в нашей парадной. В них еще несколько дней назад проживали немецкие солдаты.

Во всех комнатах стояло по пять-шесть железных кроватей, возле каждой была установлена тумбочка. Все кровати были аккуратно застелены шерстяными одеялами и белыми простынями.

Возникало впечатление, что хозяева скоро вернутся. Под каждой кроватью лежали упакованные в пергаментную бумагу пряжки ремней с надписью по кругу на немецком языке, но мы не умели читать и по-русски. В некоторых тумбочках оставались столбики круглых леденцов или зубной порошок со щеткой. Попадались складные ножи с вилкой и ложкой. Кроме конфет и зубного порошка мы ничего не взяли.

Покувыркались на постелях, поделили конфеты и пошли по своим комнатам, к родителям — обрадовать их нашими находками. Конечно, это были полезные приобретения, и родители нас похвалили. Поощренный вниманием, я пошел во двор и начал осматривать помещение бывшего немецкого штаба. Побывал там, где до того нашел ящик с гранатами. Там ничего не было, только перевернутые столы и стулья.

В углу нашел винтовочные штыки и кожаные чехлы для них, в которые были вложены деревянные распорки. Собрал и понес домой.

Мама все это добро сложила в сумку и куда-то выбросила. После этого оружие домой я не носил даже если что-нибудь находил. Все равно мама выбросит, а прятать негде. В других помещениях нашлись несколько жестяных баночек, похожих на крем для обуви, но внутри оказались плоские стеариновые свечи с фитилем посередине. Их мама не выбросила. Когда не было электроэнергии, они нам пригождались.

Нашел осветительные карбидные лампы, они тоже оказались нужными, потому что карбид, упакованный в ящики, не был дефицитным, а керосин достать было трудно. Горели эти лампочки долго, но с неприятным запахом.

Одесситы в основном были очень голодными, но в город не выходили. Румынские и немецкие оккупационные деньги уже были никому не нужны, советских рублей тоже ни у кого не было. А куда и зачем голодным людям идти без денег?

В немецких столовых, кроме посуды, на дне которой были наштампованы орлы со свастикой, ничего не было. Оккупационная власть себя никак не проявляла, но радиоточки работали. Большую часть суток они молчали. Вдруг по ним сообщили, что всем жителям города необходимо держать все двери открытыми и не выходить на улицу из своих комнат. За невыполнение — расстрел. Впрочем, расстрелом каралось любое нарушение приказов румынского, а затем немецкого командования. Люди к этому уже привыкли.

Среди соседей прошел слух, что через город пройдут части «калмыков», которые будут вырезать население. Точно этого никто не знал и не мог знать, но все подъезды домов и все парадные на всякий случай были закрыты дворниками. Конечно, это не могло быть серьезной преградой для нападающих (если бы они были). Окна первых этажей не имели решеток, попасть в квартиры других этажей проблемы не составляло. Однако, все коммунальные квартиры, где были жильцы, тоже позакрывали.

Все ждали, что будет, но ничего не случилось. Позже одесситы узнали, что советские войска, высадив десант, перекрыли дорогу на Одессу «калмыкам», которые в пригородах успели порезать население.

## Освобождение

Следующим утром, 10 апреля, в Одессу вошли наши войска. В центре города они шли по Ришельевской от Оперного театра. Все, кто мог ходить, вышли к ним навстречу, выбежали и мы с Ленькой.

Советскую военную форму почти все одесские дети видели впервые. Малыши постарше отдавали им честь, солдаты весело смеялись и козыряли им в ответ. И мы стали отдавать честь, и нам тоже отвечали.

Все было очень празднично. Даже голод гасился общим радостным возбуждением. Потом солдаты стали проходить строем, четким шагом, и петь, как мне слышалось, «кутья разблагородная вскипает, как волна».

Дело в том, что процесс варки кутьи я видел, когда мама ее готовила на поминки бабушки Пелагеи. Тогда же у меня сформировалось мнение, что еда эта очень вкусная и что-то благородное в ней, безусловно, было. Всё мне было понятно, но почему солдаты с винтовками в строю поют про кутью?

Оказалось, что я не знал еще значения слова «ярость», оттого и исказился смысл песни в моей голове. Я вынес свой трехколесный самокат и стал с шумом кататься от Екатерининской до Ришельевской по нашему кварталу. Никто мне ничего не говорил. Только друзья-товарищи просили дать покататься, и мне не было жалко. Катались весь день, до вечера. Больше не нужно было быть осторожным или чего-то бояться. Пришли наши, и мы сразу разобрались, кто они такие.

Все одесситы ожидали больших перемен к лучшему. Горя и смертей они насмотрелись, но лица всех людей были веселыми, глаза светились радостью. Прошли самые тяжелые для одесситов три года. И они даже представить не могли, что с ними будут поступать по «особой» справедливости, что им и их детям еще долго доведется быть людьми второго сорта, а многим тысячам из них достанется судьба еще горше.

По всему городу войска ПВО стали устанавливать большие аэростаты, каждый из которых поднимали в небо несколько солдат. Взлетали они на определенную высоту, удерживавшие их тросы привязывались к телеграфным, силовым и другим столбам. Один из этих дирижаблей был установлен напротив ворот нашего дома. В городе их было много, и в небе они смотрелись красиво. Некоторые из них плавали в воздухе на большой высоте, некоторые — низко.

На протяжении всего склона Приморского бульвара от фуникулера до памятника Пушкину были фундаментально установлены зенитки, покрытые маскировочными сетками. Возле орудий расположились солдаты. Немецкие самолеты над Одессой не появлялись, и через некоторое время средства ПВО из города перенесли куда-то, где они были нужнее.

## Счастливые два дня

Дверь нашей комнаты была в конце коридора, справа, как и двери других соседей, чьи окна выходили на улицу. Против дверей стоял с довоенных времен большой сундук, в котором отец оставил свой сапожный инструмент, гвозди, несколько автомобильных поршней, похожих на ручные гранаты, пилу по дереву и пару-тройку разных молотков. Папа явно тяготился своим образованием и хотел стать мастеровым, если повезет остаться живым после войны. В победе Красной Армии он не сомневался. Своими переживаниями он делился только с мамой, я никогда не слышал от него высказываний на политические темы.

Отец был очень веселым 10 апреля, когда пришли наши. Он со мной много разговаривал и в течение нескольких часов смастерил второй трехколесный самокат из дерева, с куском кожи, соединяющим доски. Маме как-то мимоходом сказал, что идет воевать. Она его не отговаривала, хотя и знала, что он белобилетник из-за болезни сердца.

Утром отец пошел в военкомат и подал заявление о добровольной отправке на фронт. Помню, как в последний вечер перед уходом отца мама протопила «буржуйку», чтобы просушить несколько сухарей ему в дорогу. Дина куда-то ушла, а мы втроем сидели вокруг печки.

Было не холодно и без отопления, но мама непременно хотела подсушить хлеб. Родители о чем-то говорили, я не совсем понимал, о чем, и вообще не воспринимал происходящего серьезно. Потом мама сосредоточенно собрала сухари, зубной порошок со щеткой, завернула все это в небольшую тряпочку. Вот и все приготовления. А утром мы пошли его провожать.

Прощание не было бурным, все было очень буднично, как будто расставание предстояло недолгое. Примерно так же вели себя и остальные, провожавшие своих мужей, отцов, братьев.

Сборный пункт располагался во дворе дома, возле магазина «Детский мир» на Ришельевской. Мы с мамой подождали, пока отец вместе с другими одесситами покупался, постригся и переоделся в солдатскую форму. Потом он занял место в строю и пошел по Полицейской (ныне ул. Бунина) в сторону Преображенской. Больше мы отца не видели.

Наш сосед дядя Гриша, которого мобилизовали вместе с папой, после возвращения с фронта рассказывал, что отцу предлагали должность писаря в штабе, но он отказался, решил пойти на передовую.

Должность писаря отцу предложили не случайно. Во время гражданской войны он был писарем при штабе Первой конной армии Буденного. Но в оккупации он столько насмотрелся, наслушался и натерпелся унижений от румын и немцев, что посчитал себя обязанным идти на передовую.

У меня есть еще одна версия: отец, практически необученный солдат, пошел на передний край, возможно, еще и потому, что его однополчане по гражданской, награжденные различными знаками отличия, намекали ему, что он не воевал, а отсиживался в штабе писарем. Мама рассказывала, что его это очень задевало.

## Просто полопались струны…

Всю оккупацию пылилась на гвозде гитара семиструнная. Не до нее было отцу, а маме, которая вспоминала иногда невеселое довоенное время, когда все ожидали ареста, тем более. Папа приходил иногда в день получки, извинялся: «Маня, я сегодня выпил кружку пива». Снимал гитару со стены, настраивал и пел: «Эх, загулял, загулял, загулял, парень молодой…» Как пел отец до войны, я помню смутно.

Зато хорошо помню, как папа пришел из военкомата 11 апреля, снял с гвоздя гитару, и запел как-то буднично-привычно, как будто каждый день играл и пел:

Сегодня с вами запою я песню,

А завтра нет меня, — уйду от вас.

Не забывайте цыгана песню,

Прощай мой табор!

Пою в последний раз…

Мама молча заплакала, а я впервые слышал спокойный голос поющего отца, похожий на тот, который я слушал, сидя на заборе из ракушняка во дворе Театрального переулка… Тогда ни я, ни мама не знали, что и в самом деле слушаем песню в папином исполнении последний раз.

Потом гитара висела на том же гвоздике, пока я не стал пробовать играть на ней. Сама она не играла. Просто полопались струны и сломался гриф…

## «Мы не дрогнем в бою…»

Мы получили только одно письмо с фронта, в котором папа писал, что утром они идут в первый бой. Письмо было очень патриотичным. Больше писем не приходило. Очевидно, это был его не только первый, но и последний бой.

Через несколько месяцев пришло извещение 910 CП № 0821–1944 г, в котором сообщалось, что Маляр Семен Иванович, стрелок 910-го стрелкового полка 243-й стрелковой дивизии погиб 5 мая 1944 года. Место захоронения: пропал без вести.

Такое место захоронения указывалось самое меньшее в сорока процентах извещений о гибели солдат и офицеров (см. «Книга памяти Украины», изд. «Маяк», Одесса, 1994 г.). Их не скоро признавали погибшими: а вдруг попал в плен, тогда их семьи становились семьями предателей, и с ними следовало разбираться по-другому.

При наступлении наших войск, кого немцы могли брать в плен? Они сами сдавались тысячами. А тогда, по-видимому, все свежее пополнение одесситов апрельского призыва послали в такой прорыв, где собирать от того, что осталось на месте боя было просто нечего, как и разбираться, где кто похоронен. Правда, такое отношение командования наших войск к погибшим солдатам, да и офицерам тоже, было повсеместным, поэтому нет смысла развивать эту тему.

В шкафу еще много лет висел коричневый костюм отца — ждал своего хозяина.

Привычно смотрелся разбомбленный город в солнечный теплый день, и, наверное, грустно выглядели веселые одесситы, пережившие оккупацию с 16 октября 1941 года… Они радовались освобождению на фоне развалок и воронок от бомб.

Непривычно выглядели освещенные солнцем смеющиеся лица наших воинов в мокрых от пота гимнастерках… Впервые мы видели веселых солдат, шутивших на русском языке, и казавшихся нам такими же, как мы, но немного старше.

Перед освобождением Одессы бомбы почему-то падали в основном на жилые здания. Большинство красивых домов все же уцелело, и солдаты видели израненный, но все равно чарующий город.

За солдатами шли саперы, и у нас на глазах с помощью трафарета наносили на стены домов надписи: «осмотрено, мин нет». К вечеру почти все одесситы вышли на улицы города. Было их не очень много…

Почти на всех кварталах стояли сожженные автомобили, как после боев, которых в городе не было. Машины были чаще повреждены нашей авиацией, или уничтожены немцами, возможно по причине нехватки бензина.

Запах сгоревших домов и автомобилей не успел выветриться, он ощущался возле свежих развалок еще несколько дней, удушливый, противный запах горелого ракушняка и металла…

Голодные одесситы радовались, им не приходило в голову, что они, почти все, радуются рано… Они, выжившие при румынах, потом при немцах, оказались под особым подозрением советских чекистов. Все это проявилось через несколько дней, а в первое время после освобождения одесситы были более чем счастливы.

Уже на второй день начали работать военкоматы, все отделы МГБ и партийные органы. Сразу же начались аресты, и жить одесситам стало не менее страшно, чем при немцах. Откуда-то появились «черные вороны», которых стали бояться даже пацанята. Те, кто был постарше, показывали нам пальцами на военных с красными околышками на фуражках:

— Это — чекисты. Они могут убить кого захотят, а ночью они ездят на «черных воронах», и арестовывают, кого захотят…

У чекистов, действительно, работы было много: нужно было опросить всех дворников о поведении жильцов при оккупантах, кто и где работал. Этих данных было достаточно, чтобы многие одесситы переселились в дальнюю дорогу за государственный счет…

Появилось столько беспризорных, что они заселили почти все развалки и территорию костела. Никого не интересовала судьба детей арестованных. Их, грязных и оборванных, иногда отправляли в детдома, но меньше их не становилось.

Еды в городе не было, и не было похоже, что она появиться. Распространялись слухи о людоедстве в районе вокзала и на Молдаванке. Эти слухи пресекались нашими чекистами, у которых был план по отлову «врагов народа», паникеров и дезинформаторов… Для одесситов, «побывавших на территории, занятой врагом», настали времена, похожие на те, которые были у евреев при румынах, только в рассрочку…

## Много будешь знать…

Отпраздновали освобождение одесситы, отвеселились, как могли. Подсознательно понимали, что чуда не произойдет и довоенная жизнь скоро не вернется, но ожидали скорых перемен к лучшему. За счет чего? Продовольствие нужно фронту, колхозы разорены, город и порт в руинах…

При нас вспоминали наши родители и соседи, как было до войны. Это звучало какой-то сказкой, в которой почти бесплатно раздавали белый хлеб и бублики, неизвестные нам сыр с колбасой, и многое такое, чего мы и не видели никогда. Такими продуктами немцы и румыны нас не баловали. Когда не знаешь, о чем речь, то оно и не очень-то нужно… Но любопытство брало верх:

— Тетя Оля, а что это такое колбаса?

— Много будешь знать — скоро состаришься, — хлопала она нас по задницам.

Старости мы тогда не боялись, и сразу убегали во двор.

Оказалось, что оккупация — не самое трудное время для одесситов. Все еще впереди. Никакие предприятия их не принимали на работу по специальности, а если пойдешь работать уборщицей, то на повышение даже не рассчитывай. Так обрадовали наших мам представители Советской власти.

— Вам тут при румынах и немцах было хорошо! — с суровыми лицами объясняли им причину отказа в приеме на работу. Ожиревшие под бомбами коммунисты-кадровики, всю войну просидевшие в Ташкенте, с сознанием своей значимости, выпендривались перед унижающимися тощими женщинами. Они знали, что не имеют права нарушать секретные инструкции о приеме на работу лиц, «побывавших на территории, временно занятой врагом…» Так почему же не показать голодным, несчастным бабам свою власть?

Через несколько дней мама собралась устраиваться на работу и взяла меня с собой. Думала, видимо, что на консервном заводе, где она работала до войны, в отделе кадров примут во внимание, что у нее двое несовершеннолетних детей, и дадут ей хоть какую-то работу. Откуда ей было знать, что кадровики получили инструкции? На работу, конечно, не взяли.

Возвращаясь с консервного завода им. Ленина, прошли через парк Ильича, бывшее Первое Христианское кладбище, где наткнулись на несколько трупов «калмыков». Они были полураздеты, лежали в неестественных позах, почернели и сильно раздулись. Возможно, они были из тех, кто должен был вырезать население при отступлении немцев. Несчастные азиаты, распространявшие свою ненависть к советской власти на русских вообще.

В освобожденной Одессе работу на пищевых производствах можно было получить только по блату. В торговле тоже. Это было разрешение выжить. «Блат выше Совнаркома». Этот факт даже не скрывался.

Одесситы, побывавшие в оккупации, могли получить работу на таких предприятиях, только согласившись сотрудничать с органами МГБ, говоря проще — стать стукачами. Вернулась довоенная практика подглядывания и подслушивания. Плановое хозяйство касалось всех сторон жизни, и у стукачей тоже были планы.

Никто не мог доверять своих мыслей даже давним знакомым. Аресты производились тоже планово. Так же легко решалась судьба арестантов — поломали упрямцам пальцы, и повезли строить социализм. Бесплатно повезли. Бесплатно строить.

Стукачи были в любой среде, в том числе и среди верных ленинцев, которые ели хорошую пищу и пили марочные коньяки. Они тогда тоже проживали в коммунальных квартирах за малым исключением. Иногда голодные соседи подворовывали у них продукты. Жены жаловались мужьям на поведение соседей, на что чиновники отвечали: «Не бери в голову, у них как ничего не было, так и не будет, а нас партия голодными не оставит…»

Я такие слова слышал от малолетней дочери партработника того времени. Посчитал, что это справедливо. Партийный человек, чиновник, не должна же его семья жить так, как мы. А если бы я мог что-нибудь украсть из их кастрюли, то не долго бы думал… Эти люди не какие-то там румыны, чтобы просто так, за здорово живешь, давать голодным пацанам кусок мамалыги, а тем более хлеба.

Они всегда любили, чтобы им приносили что-то или делали в их квартирах что-нибудь бесплатно. Так было положено. Если кто-нибудь сомневался в правильности такого курса партии, то «всяк сверчок знай свой шесток!»

Зато таким было очень плохо с непривычки, если их лишали партбилета, и везли в «широкую страну родную», в восточном направлении. На освободившееся злачное место стояла очередь деревенских номенклатурщиков… Они знали, чем отличается колхозная жизнь от чиновничьей, и кроме себя, никого не жалели.

Так было не только после освобождения Одессы, но и долго потом. «Верные ленинцы» очень скоро вернули одесситам тот страх, который был присущ советской жизни со дня образования рабоче-крестьянского государства. Никто не догадывался, кто и на кого настучал, и почему чекисты приехали за ним. Утром соседи тихо переговаривались:

— И кто бы мог подумать, а с виду такой приятный человек, и враг народа…

— Разве можно знать, что такие люди думают?

— В тихом омуте черти водятся — заключал тощий сосед, не доверяющий всем и вся.

— Советская власть не ошибается — ставил точку в разговоре сосед — чекист. Все замолкали.

Колхозники, не имеющие начального образования, с такими же бывшими рабочими, ставшими чекистами, никогда не ошибались. У них было «классовое чутье» на врагов народа и на самогон…

Несмотря на то, что за любое двусмысленное высказывание могли «припаять» 58-ю статью, одесситы продолжали шутить и улыбаться при встрече со знакомыми:

— Как дела? — расплывался одессит, протягивая руку для приветствия.

— Лучше всех, и никто не завидует…

— И есть чему завидовать? Не бойся, не заложу.

— «Знал — не сказал?» Ну и шуточки у тебя!

Приезжие не понимали таких разговоров. Если одесситы при встрече так шутят, то когда же они говорят серьезно? А мы учились у взрослых, и при встречах тоже спрашивали:

— Как дела?

— Лучше всех!

Мы не знали зависти, и смеялись за компанию, как взрослые одесситы.

В конце 1944 года, когда мама получила извещение о гибели отца, она, взяв меня с собой, отнесла его в собес Сталинского (Жовтневого) района. Нам с сестрой была назначена пенсия за погибшего отца по 140 рублей в месяц.

Следует учесть, что на Привозе буханка черного хлеба стоила 100 рублей. Зато, как вдова погибшего солдата, мама имела право оформить документы на лечение меня в тубсанатории (у меня обнаружили потемнение легких).

Весной 1945 года она водила меня в поликлинику, расположенную на углу Пушкинской и Дерибасовской. Ко всем врачам нужно было выстоять большую очередь, времени было много, и я подошел к окну, из которого хорошо просматривалось здание городского суда, к которому подъехала крытая милицейская машина. Народа собралось много. Милиция организовала живой коридор к дверям суда.

Из машины стали выводить большую группу молодых людей, в том числе нескольких девушек. Вели они себя достаточно уверенно, одеты были по тем временам вполне прилично.

Как я позже узнал от взрослых, это были участники банды «Черная кошка», которые занимались грабежами в порту и в городе. Они убивали с легкостью, соревнуясь в «лихости» друг перед другом. Невозможно было тогда представить, что мне доведется близко познакомиться с участниками ликвидации этой банды, долго терроризировавшей одесситов.

## Школа. Павлик Морозов

Через некоторое время в собесе Сталинского района мы получили карточки, продуктовые и на хлеб для иждивенцев. Это был голодный паек, но у мамы не было работы и это лучше, чем ничего.

Позже мама поехала в Москву, попала на прием к какой-то «шишке» в министерстве пищевой промышленности, расплакалась, и тогда ей «простили», что она была в оккупации. Дали направление на работу, определили бригадиром в цех, производящий баклажанную икру на завод им. Ворошилова. Изредка она брала меня в цех, и я в каптерке мог есть эту икру сколько хотел.

Через год я поступил в школу № 92. Мои одноклассники обучили меня песне, которой сами научились у старшеклассников:

Горит в зубах у нас большая сигарета,

Идем мы в школу, чтобы двойки получать,

Пылают дневники, залитые чернилом

И двойки разукрашенные в них стоят!

Ученики! Директор дал приказ:

Поймать завпеда — выбить правый глаз.

…

За слезы наших матерей,

За наши булочки — огонь, огонь!

Школьникам во время большой перемены учительница выдавала маленькую булочку с чайной ложечкой сахара или кусочком повидла. Она проглатывалась нами в мгновение ока. Немногие ученики доставали газетные свертки, в которые им заворачивали что-то съестное родители. Шелест бумаги служил сигналом для их школьных товарищей: «Дай кецык!» — и от этих завтраков так же быстро ничего не оставалось.

На родительских собраниях в начальных классах учителя ругали меня за плохое поведение последними словами, но мама молча это переносила. После собрания брала меня за руку и спрашивала: «Теперь ты исправишься? — ну и молодец. Я так и думала». Мне было очень жалко маму, но что я мог с собой сделать? Детская дурь так и перла.

Во всех классах над доской висел портрет хитро улыбающегося в усы Сталина с девочкой на руках и надписью: «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!». Такой приятный дядюшка смотрел на нас влюбленными глазами… Мы мешали всем, кроме наших мам, а тут в классе на нас смотрит без злости сам Сталин!

Учительница прочитала нам надпись на портрете, и мы поверили ей, что мы и есть самые счастливые.

Мы осознали — небольшие заработки за потопление соседских котят, перенос угля к месту его хранения — это и есть счастье. Когда мы взламывали двери соседских сараев и находили там самовары или бутылки — это была просто везуха! Заработанные таким образом деньги быстро тратились на свои нужды, и наше счастье было таким же недолгим, как и еврейское, но оно было ярким, и мы весело пели:

…масло, коровье масло,

когда б не масло,

не родился б я!

С первых уроков учительница нам рассказывала о подвиге пионера Павлика Морозова. Казалось, страна нуждалась в таких героях больше, чем в продовольствии. С их помощью родителей тысячами отправляли в сибирские лагеря, а в селах освобождались лучшие хаты. Пионеров-стукачей отправляли в интернаты, и детдомовцы смотрели на них с завистью: у них не было, кого сдать в органы НКВД.

Один из таких «Павликов» после войны катался по Привозу на четырехколесной тачке. О нем ходили легенды.

Он до войны сидел в лагере (за что — неважно, никогда не рассказывал), а когда набирали по тюрьмам штрафные батальоны, записался добровольцем и стал быстро продвигаться по служебной лестнице. Его назначили помощником командира взвода убийц-рецидивистов. Опасная работа, но как можно оставить без присмотра таких солдат?

О том, что Павлик в детстве заложил своих родителей, подчиненные не знали.

На передовой не до песен: впереди немцы, под ногами мины, сзади войска СМЕРШа с пулеметами. Кому, на кого и куда стучать? Привыкшему в детдоме к почету хотелось закричать во все горло: «Я — недобитый кулаками Павлик Морозов!» Рецидивисты удавили бы его, не моргнув глазом. Пионерские песни пришлось забыть, а идя в атаку запевать со всеми вместе «Здравствуй, моя Мурка…»

Вскоре ему повезло, наступил на мину. Искупил вину кровью, и без ног приехал в Одессу, где грелся на солнце в районе Привоза. И здесь нельзя было никому рассказывать, что он бывший недобитый Павлик Морозов — задушат другие калеки. Во сне задушат, а он не для того отправил всю свою семью в Сибирь.

Теперь, когда о его подвиге знают все пионеры Советского Союза, не хотелось Павлику, чтобы его воткнули в дырявый мешок вместе с тележкой… Но шила в мешке не утаишь. Кто-то из калек признал в нем детдомовского стукача, и на Привозе стали его величать Павликом Морозовым. Как ни странно, никто его не придушил, а в пилотку даже стали кидать рубли чаще, чем другим инвалидам. Павлик со своим напарником из детдома напивались допьяна чаще окружающих их бродяг. Впрочем, он, скорее всего был не Павликом, да и фамилия у него была другая…

В собесе стали выдавать талоны на питание детям погибших (только малолетним). Странную похлебку разливали в помещении школы на углу Екатерининской и Базарной. Суп был почти черным без какой-либо крупы или картошки. Есть его было невозможно даже очень голодным, но там находились старшие ребята и девочки, которым и этого было не положено — они доедали наш суп. Кусочек хлеба и немного каши мы съедали моментально, запивая компотом из сухофруктов.

Когда на улице было тепло, школяры, и я вместе с ними, ходили к памятнику Пушкину, где можно было купаться в больших чашах, в которые струилась вода. Никто этого не запрещал, на нас просто не обращали внимания. Кроме трусов и маек на нас ничего не было — так мы ходили в школу до холодов.

В городе, кроме нас и инвалидов, вернувшихся с войны, никто не шутил. И шутки наши были невеселыми. Дополнительным питанием были гронки цветов акации. Как-то вечером я залез на дерево рядом с аптекой на Ришельевской и ел акацию. Подошел такой же пацаненок и требовательно заявил: «Сбрось мне ветку!» Тон его мне не понравился.

— Залазь сам, здесь места хватит.

Пацан, видимо родился стукачом. Через несколько минут он привел милиционера, который препроводил меня в комнату дворничихи. Там я просидел со старшиной до поздней ночи — не говорил, где живу.

Ночью пришлось привести «гостя» домой. Милиционер, расположившись за столом, составлял акт. Сколько мама не объясняла ему, что отец погиб, денег осталось только купить немного хлеба, кормить детей не на что, он все-ж таки оштрафовал ее на 50 рублей, которые она бросила ему в лицо. Милиционер, явный жлоб, даже не обиделся. Мама ничего мне не сказала, и я лег спать.

Что такое летняя обувь, пацаны даже не догадывались. Однажды мы с Ленькой, как обычно вечером шли с моря домой и не повезло мне — споткнулся о булыжник. Ноготь на большом пальце отлетел, закрутился я, как юла, от боли. В это время вышла из парадной нашего дома мама с сумкой носильных вещей, собиралась их постирать на море. Забрала нас с собой. На Ланжероне сказала мне, чтоб я сидел возле воды и держал палец в море. Попросила какого-то парня, чтобы дал нам надутую резиновую камеру — покататься. Мы визжали, как щенята, от радости, и я забыл о болячке. Домой мы шли, как ни в чем ни бывало.

На другой день мама собрала, что могла, для продажи и поехала куда-то недалеко от города, чтобы обменять это имущество на продукты. Кое-что выменяв, ехала домой. В поезде познакомилась с женщиной, которая ехала в Одессу для оформления бухгалтерского отчета колхоза, который только создавался. Ей негде было остановиться, и мама ее привезла к нам.

Не помню, как ее звали, но она оказалась очень общительной. Угостила нас салом с хлебом. Заплатила маме за проживание, и наши финансовые дела несколько улучшились. Она рассказала, что ее муж болеет туберкулезом и она кормит его собачьим жиром. Бродячих собак ей поставляли деревенские ребята. После знакомства с мамой, женщина приезжала в год два-три раза и всегда привозила какие-то продукты. Она работала главбухом колхоза и просиживала у нас по много часов, сводя баланс. Со мной она не общалась, а у меня были свои заботы.

## Костел. Знакомство с Пересыпью

Во время оккупации и несколько лет после нее в костеле на Екатерининской проводили католические богослужения. Посетителей было немного. Внутри, в огромном молитвенном зале, было торжественно и тихо. Иногда пел хор на большом балконе над входом. Я туда заходил, как в другой мир, где нет голода и злости…

Было до слез жалко, когда после 1947 года костел закрыли, распустив слух, что священники оказались иностранными шпионами. Очень скоро здание разорили. В помещениях, расположенных между наружной стеной и молитвенном залом, стали ютиться беспризорные. Нам было по восемь-девять лет, когда мы занялись обследованием подсобных помещений костела. С местными обитателями-беспризорниками мы быстро подружились.

Иногда нас гонял участковый, которого вскорости кто-то из более старших «жителей подземелий» оглушил и при этом отобрал документы, включая партбилет, и оружие. Милиционер собрал нас возле школы № 117 и просил, чтобы мы посодействовали ему в возвращении похищенного, но помочь ему было не в нашей компетенции…

Потом в помещении костела был открыт спортзал «Строитель», в котором проводились соревнования по волейболу и пинг-понгу. Вскоре спортклуб прекратил свое существование, но здание до конца не развалили. И то хорошо…

В апреле по нашей улице в сторону порта гнали пленных румынских солдат. Колонна шла не очень стройно. Румыны выглядели изнуренными, были мокрыми от пота. В ширину колонна занимала всю проезжую часть. Солдаты шли при полной амуниции, с шинелями через плечо, их мучила жажда.

Мы, жители нашего дома, стояли возле ворот и смотрели на пленных и конвоиров, шедших с винтовками наперевес. Вдруг один из румын выбежал из строя к женщине, несшей ведро воды с Польского спуска («Канавы») и зачерпнул солдатской кружкой воду. Наш конвоир ударил прикладом так, что несчастный, вихляя, улетел к колонне, где его подхватили и понесли на себе другие пленные.

Женщины стали корить конвоира, на что он им сказал: вам нужно было посмотреть на то, что они делали с такими, как вы, совсем недавно, не так далеко от города.

Такие колонны гнали по улицам много дней.

Трамвай № 1 останавливался рядом с нашим домом, шел по Ришельевской, затем мимо Оперного театра, там сворачивал влево, и по улице Пастера доставлял нас на конечную остановку, где сейчас делает круг 28-й трамвай. Кондукторы даже и в мыслях не допускали, что голодные пассажиры имеют деньги на билеты, а мы кучковались на площадках, чтобы их не раздражать.

Мы носили трусы без карманов. Откуда нам было доставать деньги? Спускались к Пересыпьским мостам, оттуда трамвай № 6 довозил пассажиров до Ярмарочной площади, а № 7 ехал аж до Лузановки.

Запрыгивали мы в любой и ехали до ближайших деревьев шелковицы или акации. Сигналом спрыгивать служило урчание в животе. Вагоны были без дверей.

На площадке возле нас с Ленькой разговорились две пожилые женщины о какой-то «горячке», где течет горячая вода прямо в море — туда они и направлялись. Сошли вместе с ними возле сахарного завода. Старушки направились в сторону моря.

Действительно, от электростанции к берегу была проложена толстенная труба, из которой лилась под напором горячая вода. Под ее струей нежились молодые и пожилые женщины, умиротворенные солнцем и теплом.

Диаметр трубы позволял нам проникать в нее почти не сгибаясь, но напор воды не давал идти быстро. Постепенно становилось жарко и душно. Мы попробовали сесть, но вода хлестко ударила, и труба выплюнула нас на спины женщин, которые от неожиданности дружно завизжали. Такое катание нам понравилось, захотелось повторить, но к трубе, охраняя свой покой, женщины нас больше не подпустили.

Почти рядом с берегом сидели на мели ржавые суда — самоходная баржа и небольшой сухогруз, задравший кверху нос. На них сидели и лежали пересыпьские пацаны разного возраста. Иногда кто-нибудь из них нехотя поднимался и с разгона прыгал с носа сухогруза в море.

Издалека казалось, что это очень просто. Летели по воздуху ребята, раскинув руки в стороны, затем красиво их складывали, и почти без брызг входили в воду. Вскарабкались на сухогруз и мы. С палубы посмотрели вниз, морское дно показалось совсем рядом. Как пацаны не бояться прыгать головой вниз? На дне среди песка — черные камни и ракушки.

Поднялись на нос. До поверхности воды высоко, вода кажется еще чище, а морское дно — как цветная мозаика, разделенная пятнами желтого песка. Быстро мелькают стайки тюльки, а из-под темных камней высовываются осторожные бычки, и поднимая вокруг себя вихри песка, быстро исчезают.

Прыгать мы передумали сразу, но и уходить не хотелось. Одновременно страшно и красиво смотрелось морское дно. Мимо нас пробежал взрослый парень и полетел, раскинув руки, потом в воздухе сложился в двое, развернулся и вошел в воду. До дна не достал, затем плавно начал всплывать. Подошел я к краю носа — страх не проходит, даже прыгнуть «солдатиком» не позволяет «мандраж».

Вернулись мы на борт и оттуда прыгнули «бомбочками». Колени сами прижались к подбородкам. Всплыли-поплыли к барже, рядом с которой Ленька стал деликатно намекать, что тонет. Я, как мог, стал его буксировать к барже. Подоспел пересыпьский парень и подсадил нас на самоходку. Залегли на ржавое горячее железо. Отогревшись, стали соображать, как будем выбираться. Набравшись храбрости, разогнались и прыгнули в сторону сухогруза. Нам, привыкшим плавать вдоль берега на Ланжероне, все время хотелось встать на ноги, но здесь такой номер не проходил. Кое-как доплыли и стали считать себя пловцами.

Вернулись к остановке трамвая, наелись шелковицы и поехали на Ярмарочную. Там размещались крестьянские подводы с запряженными лошадями, дружно удобрявшими всю площадь — ее никто тогда, наверное, никогда не убирали. После свежего морского воздуха показалось непривычно душно.

Поехали на Лузановку на седьмом трамвае, он там делал круг на пустыре. Параллельно рельсам была прорыта глубокая канава, наполовину наполненная водой. Местами через нее были переброшены железные мостики. Лузановский пляж был почти диким, купавшихся там людей можно было пересчитать по пальцам. С другой стороны дороги, по которой ездили только колхозные телеги, был болотистый пустырь.

О всех районах города пели песни, но никогда мне не доводилось услышать песню о Лузановке или о Ярмарочной площади. Только в перефразированной песне о китобоях звучала фраза «… от моста до бойни — песенка плывет…»

## Чужие в своем городе…

Состояние наших матерей, оставшихся один на один с голодными детьми в разоренном городе было незавидным. Они не сразу поняли, что являются теми, кто «был в оккупации», и в ком меньше всего нуждается власть.

Чужие в своем городе, когда их мужья воюют… «Вам при румынах было хорошо!» — многократно повторяли им приехавшие из эвакуации «инвалиды», ставшие начальниками.

Где-то познакомилась мама с такой же бедолагой — казачкой, пригласившей встретить новый, 1945-й год. Сестра пошла отмечать праздник к школьным подругам, а я напросился пойти с мамой.

Казачка проживала недалеко от Дюковского парка. Вечером мы пришли в небольшую квартиру, где было пусто — «шаром покати». Стоял самодельный столик, несколько табуреток и «рыдван». За столом сидели старенький веселый одессит с хитрыми глазами и молодая женщина. Таких красавиц я в городе не видел, возможно потому, что там они были одеты очень бедно.

На казачке было темное платье, подчеркивающее ее фигуру и гордую осанку. С шумом вошла подруга хозяйки, принесла кусок хлеба и банку вина. Стали накрывать дощатый стол без скатерти. Мама вынула из авоськи кусок хлеба и несколько хрустиков. Хозяйка поставила в центр стола плоский пирог с кабаком — плацинду. Хозяин резво побежал в прихожую и вернулся с бутылкой водки.

Такой богатый стол поразил мое воображение. Посадили меня на «рыдван», чтоб не мешал, под большой черный репродуктор — такой же висел и у нас дома. Передавали частушки «…хорошо идут дела у колхозного села…».

Хозяйка разложила еду по блюдечкам, всем разделив поровну, не забыв и меня. Женщинам разлила вино в граненые стаканчики, хозяин налил водки себе сам. Не помню, кто поздравлял по радио народы Советского Союза и воинов Красной Армии — я был сосредоточен на кусочках хлеба и плацинды, а коричневый хрустик поблескивал всеми цветами радуги, как салют на Куликовом поле.

Когда голос Левитана сказал: «С Новым Годом, товарищи!» все встали, кроме меня. Заиграл гимн «… нас вырастил Сталин…». Мама почти не пила, другие женщины тоже лишь пригубили вино, зато старичок опрокинул свой стакан до дна, поцеловал донышко и стал что-то оживленно говорить. Смысла его слов я не понял. В темпе дедушка произнес несколько тостов и прилег возле меня. Вскоре он захрапел. Подруга хозяйки дома спросила у нее:

— И зачем тебе этот старый пердун?

— А куда мне деваться без жилья…

Чтобы разрядить обстановку, мама стала вспоминать жизнь в станице, откуда им пришлось бежать без оглядки. Вспомнила своего отца, пропившего состояние деда.

Дед был атаманом станицы Веселая, он не хотел отдавать дочь Пелагею за весельчака Ивана Куксова. Пелагея настояла на своем, детей родила двенадцать душ, а Иван, тем временем не по дням, а по часам пропивал приданное, включая тройку хороших коней с шарабаном. Двухэтажный дом он, к сожалению, пропить не успел. Потом случилась революция.

Начали вырезать зажиточных казаков. Пришлось Пелагее Марковне с мамой и братом Николаем бежать в Одессу, остальные дети ушли в Грозный, где чечены не давали красным комиссарам глумиться над населением.

Мой дед Иван умер от «веселой жизни» в возрасте 43-х лет, не успев стать ни красным, ни белым — это не имело для него значения. Жить в двухэтажном доме могли только «враги народа» или «враги советской власти». Дальше разговора я не слышал. Заснул.

## В противотуберкулезном санатории

После того, как я был полностью обследован в поликлинике, нам была выдана путевка в детский туберкулезный санаторий, находившийся на Пролетарском (Французском) бульваре. Там я впервые увидел белый хлеб, смазанный сливочным маслом и другую вкусную и полезную еду. Потемнение прошло, я «очухался», как мы тогда говорили.

В противотуберкулезный санаторий каждую неделю приезжали ко мне мама с сестрой. Во время послеобеденного отдыха я лежал на кроватке, беседуя с подобными мне скелетами. Приходила няня, говорила — иди в приемное отделение, к тебе пришли. Быстро вскочив, я бежал к будке, стоявшей рядом с воротами и бросался к маме. Сестра не любила «телячьих нежностей», стояла рядом.

Мама интересовалась, как мне нравится в санатории, чем кормили на завтрак, в обед… Я рассказывал о борще с мясом, котлетах, молочной рисовой каше, о белом хлебе с маслом и повидлом, не замечая, как сестра глотает слюни и как блестят ее голодные глаза. Сытый голодного не разумеет.

Если бы мне о такой еде говорили до санатория, я бы никак не реагировал. Знал я вкус черного хлеба, ворованных яблок и макухи, супа с крупой. А сестра помнила довоенную пищу, радовалась за меня, но откуда мне было знать, что лучше бы я не отвечал на такие вопросы. Мои родные продолжали голодать…

В санатории лечилось много еврейских детей. Дома, где почти все соседи по коммуне были евреями и со мной разговаривали, как с равным, я узнал много слов (и ругательств тоже) на идише, а потому от других детей отличался разве что большей худобой.

Из разговоров я узнал, что во время эвакуации потонул пароход «Ленин». Мне очень захотелось прихвастнуть, и я рассказал, как тонул вместе с этим судном, но спасся, выплыв по-собачьи (иначе я плавать тогда не умел). Один из слушателей моей байки подошел ко мне и с таинственным видом показал на нашего ровесника:

— Колька не любит евреев — прошептал он трагически.

— А ты его любишь? Спросил я его тем же тоном.

— Нет…

— Тогда вы квиты…

— А что такое квиты? — заговорщицки спросил слушатель.

— Есть такие цветы, как «пара-цвай» — я тоже точно не знал, что это такое, но о смысле догадывался.

Через неделю меня перевели в старшую группу, где масло, сахар, халва и мясо выделялись значительно большими порциями. Наверное, мама должна была как-то отблагодарить заведующую, но у нее ничего не было. Меня вернули в младшую группу. Перед выпиской рентген показал, что я здоров.

## Чекисты Воропаев и Валентина

Многих наших сверстников в то время постигла участь стать калеками вследствие шалостей с применением оружия и боеприпасов, находить которые было нетрудно.

Выяснения отношений происходили почти каждый день, и если при этом не хватало обычных оплеух, то вызывали «стукаться». Процедура была такова: весь класс выстраивался в круг на ближайшей развалке, в его центре выясняющие отношения выступали в роли боксеров и дрались до первой крови или слез, а после этого становились друзьями-товарищами.

Никогда не били одного вдвоем или втроем, как стало модно в шестидесятые-семидесятые. У взрослых проблемы были посерьезнее. «Черные вороны» ездили по ночам постоянно. Разговоры о них шли шепотом, хотя большого секрета власти из этого не делали.

Стукачей еще было мало. При румынах и немцах такая профессия среди одесситов перестала быть модной, ее почти забыли. Нужно было срочно восстанавливать советскую власть, довоенное могущество ЧК.

К нам в комнату подселили молодую женщину по имени Валентина, которая служила в МГБ в звании лейтенанта. Во сне она истерически кричала (было слышно через перегородки и двери), а иногда, оставаясь наедине с моей сестрой, рассказывала, что ей приходится стенографировать допросы. Во время дачи показаний подозреваемым ломали пальцы дверями и применяли другие виды пыток.

За такое служебное нарушение Валентина сама могла сильно пострадать, но потребность излить душу была сильнее.

Иногда она брала меня с собой, когда шла получать паек в столовой МГБ, находившейся возле центрального входа в парк Шевченко, там, где теперь Дворец Студентов. Очередей там не было. Валентине отвешивали печенье, конфеты, тонко нарезанный темный хлеб, и она выдавала мне одну конфетку и пару печений. Было понятно, что за «черную работу» ей причиталось не очень много с барского стола. Хотя тогда это было не так уж и мало.

Над нами, в комнатах Берты, проживал сотрудник МГБ довольно высокого ранга. По выходным его отвозили на охоту на «виллисе» и привозили назад с битыми зайцами и утками. Фамилия его была Воропаев. Он частенько позволял себе «расслабиться», и в таком состоянии бывал очень веселым и добродушным.

В этой семье росла дочь Люда, моих лет. Как-то, когда ее родители были на работе, она пригласила меня в гости. Ей захотелось показать себя хозяйкой и вела она себя соответственно. Семья занимала две комнаты, обставленные не шикарно, даже скромно.

На стене большой комнаты висело двуствольное ружье, видимо хорошее. Люда, подражая папе, открыла шкаф, в котором хранилось охотничье снаряжение: патроны, порох, гильзы, капсюли. Там же были высокие резиновые сапоги и телогрейки. Видимо, ее отец любил всем этим охотничьим снаряжением хвастаться перед гостями, и она тоже не удержалась.

Люда, как и ее отец, предложила гостю взять что-нибудь. Я выбрал коробку капсюлей, их было много.

Что с ними делать, я знал. Мы уже не раз клали на трамвайные рельсы пистолетные патроны. Проделали с капсюлями ту же операцию, разложив их через метр-полтора, за 30–40 шагов перед остановкой. Когда трамвай наезжал на капсюли, раздавалась довольно громкая стрельба и водители, не понимая ее причины, останавливали трамвай. Нам это очень нравилось.

## Приобщение к культуре

Над комнатой семьи Андрущенко поселилась приехавшая из эвакуации коммунистка, билетерша Оперного театра баба Зина. Ее довоенная кличка была — Артистка. А еще соседи называли ее «самашечей». Она энергично «выводила на чистую воду» всех соседей — писала письма по месту работы, а если не знала куда писать, то отправляла доносы в МГБ.

По ее письму пришли к маме два милиционера. Они стали объяснять в чем соседка обвиняет наше семейство. «А вы выйдите в парадную, и спросите любых соседей, где живет сумасшедшая» — посоветовала мама. Они так и сделали. К нам они больше не вернулись. Не всем одесситам и не во всех дворах так везло…

Отец Толика погиб в начале войны, а мама, тетя Лида, перебивалась мелкой торговлей как почти все одесситки. После освобождения ей повезло встретить моряка загранплавания, и жизнь семьи наладилась. Официально зарегистрироваться они не могли. Любой родственник, побывавший «на территории, занятой врагом»… Дальше объяснять не нужно.

Но главная причина была в том, что Толик приревновал маму к новому мужчине, и сделал все, чтобы они расстались. Семья осталась практически без средств к существованию.

У Вити-Бени с братом Толей мама, тетя Ира, осталась без мужа после освобождения Одессы. Во время оккупации отец где-то работал в порту. Тетя Ира трудилась уборщицей в ЖЭКе, и на детей не получала никаких пособий. Голодали они страшнее всех известных мне семей. Виктора мама отдала в детдом, а сама с Толиком кормилась картофельными очистками, которые ей отдавали приехавшие из эвакуации соседи.

После 1947 года Витя вернулся домой. Он раздался в плечах, вырос и стал разговаривать по-украински. До отъезда он был слабее меня, а приехав, при малейшей размолвке стал заявлять: «Зараз як упыздю!» Некоторое время я обдумывал такую перспективу. Потом не выдержал, и вызвал его «стукаться».

Собрались во дворе школы № 117. «Болельщики» организовали круг, брат Толик был так уверен в победе Виктора, что даже заранее встал в воинственно-горделивую позу, которая сама по себе говорила: «сейчас получишь!» Вследствие своей худобы и богатого опыта участия в подобных мероприятиях я быстро взял верх. Победил убедительно. Оба брата с громким ревом направились домой. Угроз впредь не поступало.

Валера Ищенко по кличке «Кишка-пожарник» был в оккупации, но бабушка его держала возле себя, и так над ним тряслась, что не отпускала со двора, пока в город не вошли наши. И позже она не хотела, чтобы он водился с «уличной шпаной». Был и дедушка, который стал работать на восстановлении конденсаторного завода, а мама служила в какой-то столовой.

Отец Валеры погиб, но достаток в семье кое-какой был, и семья даже могла содержать собачку породы шпиц, которую выгуливала во дворе бабушка. Шпиц, когда оказывался на улице, крутился юлой вокруг себя, и лаял без передышки. Валера увидел, как «уличная шпана» ест акацию, и стал питаться цветками вместе с нами. Бабушка такого видеть не могла:

— Посмотрите, что вы едите — там же в каждом цветке червяки!

— Так они же из мяса! — возражали мы.

О пользе или вреде червяков мы не задумывались, выбора не было, «мясо» червей хрустело на зубах…

Мама Валеры хотела, чтобы сын играл с детьми «достойных родителей». А где их брать? Кругом одна шпана!

Судьба сжалилась над женщинами. Над их квартирой поселился демобилизованный капитан первого ранга Северного флота Егоров с сыном, дочерью и женой. Жена и дочь болели туберкулезом в тяжелой форме. Сын, Игорь, был нашим ровесником. Родители не стремились его отгородить от нас, просто уделяли должное внимание его воспитанию.

Образовалась компания, против которой бабушка Валеры не могла возражать. Мы играли в шахматы и карты в парадной как прилежные дети достойных родителей. Валера был рассудительным мальчиком, любил и хорошо умел играть в шахматы. Уселись они как-то на подоконнике с Виктором. Кто-то из болельщиков подсказал Вите:

— Пожертвуй ферзя, потом будешь кромсать.

Беня так и сделал. После этого Валера легко оставил его без фигур. Когда у него оставалась лишь пара непроходных пешек, Витя с удивлением посмотрел на доску:

— А когда же кромсать?

Прогуливаясь по вечерам по Ришельевской на бульвар Фельдмана, мы обнаружили, что на Оперном театре возле большого балкона со стороны моря есть удобный угол, по которому можно залезть на второй этаж. Оказалось, что этот балкон сообщался с мужским туалетом. Мы не стали упускать возможности приобщиться к культуре. Привели, по возможности, свою одежду в порядок, погладили рубашки, брюки, почистили обувь, и пошли штурмовать высоты искусства.

Вите-Бене захотелось попасть в театр иным путем. Он обошел театр со стороны Пале-рояля, и как большой таракан полез по стене над билетными кассами. Кто-то из стоявших в очереди за билетами позавидовал мастерству верхолаза и показал на него пальцем дежурившему там милиционеру. Витя заметил этот жест боковым зрением. Оказавшись на балконе, он выскочил в фойе, и замотался в бархатную портьеру, как китайский шелкопряд в кокон. Но портьеры, к сожалению, оказались короткими, ноги были видны, и милиционер, очень быстро их обнаружив, стал раскручивать пацана.

От этих быстрых вращательных движений Витя заголосил громче оперных певцов. В фойе акустика оказалась вполне достойной всего театра. Представитель власти поспешил как можно скорее выпроводить Беню на улицу, не обращая внимания на брызжущие из глаз слезы любителя оперной музыки. «Ах, какая драма — пиковая дама!»

Бульвар Фельдмана, он же Приморский, стал любимым местом наших прогулок с песнями сомнительных художественных достоинств, как, например:

Настроил гитару на … твою мать,

Пошел по Бульвару блядей собирать,

Гитара играет, гитара поет,

А друг мой под будкой кого-то е…т…

Ну, и тому подобное. Эти песни не носили политического характера, и нас никто не задерживал. Мы резвились.

Уличные клички возникали небеспричинно. Ленька честно заработал кличку «Мартын», когда, падая с заднего буфера трамвая, успел за него зацепиться. Витя стал «Беней-Крик» из-за того, что, попадая в непривычную ситуацию, громко кричал. Валера получил прозвище «Кишка-пожарник» за то, что, по нашему мнению, имел устройство для тушения любых пожаров. Толик стал «Титом» просто потому, что имел фамилию Титов. Коля имел внешнее сходство с обезьянкой Читой из кинофильма «Тарзан», был таким же неугомонным, и строил такие же рожи.

Не знаю, почему Шурика окрестили Жопой. Шурик был умнее многих из нас. Возможно, ему «помогла» одесская поговорка, когда хотели подчеркнуть ум того, о ком говорили: «У него в жопе ума больше, чем у тебя в голове!»

Вовка «Слон», как и другие Слоны обладал силой необъятною.

Сашка «Банабак» имел сомнительное кавказское происхождение.

Свои клички все пацаны воспринимали без каких-то возражений.

Ребята в основном имели хорошее зрение, и, увидев Шурика за несколько кварталов, звонко кричали, приставив рупором ладошки ко рту: «Ж-о-о-па!» На что незамедлительно звучал ответ: «А-а-а?»

Раз в квартал мама давала мне деньги и продовольственные карточки и ставила в очередь для получения порции сахара, повидла или халвы. Продукты давали с задней стороны хлебного магазина. К окошку, где взвешивали продовольствие, выстраивалась очередь, которая заполняла пространство всего двора 22-го номера по улице Жуковского.

Однажды я выстоял такую очередь в надежде получить халву. Поздно вечером, когда я оказался перед этим окошком, продавщица собирала последние крошки для стоявшей впереди меня женщины. Непроизвольно мои глаза залились слезами, и я не помню, как оказался дома.

Пришла мама с работы, узнала о происшедшем, успокоила меня и пообещала, что на другой день принесет с работы эту сладость. На заводе им. Ворошилова, в цеху, где работала мама, изготовляли кабачковую икру, но в другом здании начали производство семечковой халвы. Она выпросила у кого-то немного, спрятала на себе и пронесла через проходную.

Каким-то образом узнала об этом работница-коммунистка, еврейка. Она стала следить за мамой, которая это заметила и забежала во двор на Водопроводной. Там она выбросила халву в туалет. Коммуниста стала кричать, что «воровка выходит со двора». Мама объяснила сбежавшимся людям, что произошло, и они побили коммунистку. Позже я слыхал от евреев поговорку: «поц аид хуже фашиста».

В следующий раз, когда по карточкам давали халву, я встал заранее в очередь, выстояв которую получил на нашу семью около килограмма этого продукта. Пришел домой и всю ее съел, не думая о сестре и маме. Через несколько часов мне стало плохо.

Мама пришла с работы, стала отпаивать меня водой с марганцовкой. Из туалета я не выходил, лил воду, откуда только мог несколько часов. Несколько дней не мог ходить в школу и лет до двадцати халву есть вообще не мог. Пословица «жадность фраера губит» приобрела для меня конкретное содержание.

Хлебные карточки семьи получали ежемесячно. В магазине продавщица сначала отрезала квадратики в соответствии с числом месяца, и только потом брала рубли с копейками за взвешенный кусок черно-кукурузной массы, примерно триста грамм на малолетнего и на работающего полкило.

На нашу семью отвешивали половину кирпичика тяжелого месива. В очереди старики вспоминали довоенное время, когда можно было свободно покупать белый хлеб и бублики по пять копеек… Стоял я возле них, развесил уши, а кто-то в толчее вытянул хлебные карточки из моего кармана. Подошла моя очередь. Похлопав по карманам и побегав вдоль очереди, пошел, опустив голову, домой. Было начало месяца. Зашел в комнату. Мама приготовила похлебку и ждала с сестрой, когда я принесу хлеб. Что говорить? Посмотрел в их голодные глаза, заплакал. Родные поняли из моих несвязных слов, что произошло. Мама молча заплакала.

Объяснять мне, что я виноват не было необходимости.

В этот месяц у нас не было шансов выжить. Мама, наученная опытом выноса с завода халвы, со многими предосторожностями выносила в пергаментной бумаге немного баклажанной икры, иногда пакетик черного перца. Перец она наладила продавать цыганкам на Привозе, которые платили деньги без обмана. Так мы выжили, а пугать меня цыганами, как это делали некоторые родители, не имело смысла. Они в расчетах демонстрировали порядочность. Потом мама прекратила этот бизнес. Все-таки, цыганская публика…

Когда я выстаивал в очереди на улице Жуковского, № 22, то наблюдал за тем, как ребята ломают громадные ящики, установленные вдоль стены. В них были противогазы, изготовленные из эластичной резины. Никто не запрещал пацанам этого делать.

Наша компания «приобрела» противогазы, и так же, как другие ребята, мы стали делать рогатки. Резина была очень крепкой и хорошо растягивалась. С таким оружием хорошо было охотиться на воробьев. Если нам удавалось настрелять по несколько штук, «специалисты» обмазывали их глиной вместе с перьями и на костре готовили шашлык. Когда глина становилась черной, ей давали остыть. При ударе о камень горелая глина лопалась, как орех, и разлеталась вместе с перьями. От каждого воробья оставалось несколько грамм мяса возле лапок и ребер. Ничего вкуснее нам до того есть не доводилось. Развалок было много, никто не обращал внимания на то, что дети там что-то жгут.

Мама Толика Тита стала работать кассиром на стадионе «Пищевик» (в дальнейшем — «Черноморец»). Мы получили возможность регулярно посещать игры, постепенно становясь болельщиками.

Осенью моя мама купила на толкучке матросскую курточку, которая мне очень понравилась. Лишних денег у нее не было, и она в моем присутствии долго торговалась за каждый рубль с продававшим куртку пацаном. Осень стояла прохладная, но в тот вечер, когда мы шли на футбол, было тепло. На стадионе мы с Толиком уселись как обычно на заборчике между трибунами, и я подстелил куртку под себя. Матч закончился, и я, забыв о ней, побежал вместе с Толиком домой. Когда я вспомнил о куртке и вернулся за ней, ее, конечно, уже не было. Явился домой я не в лучшем настроении. После этого случая одесский футбол потерял своего болельщика.

Начали работать базары. Были они не обустроены и разорены до неузнаваемости. Во время оккупации крестьяне не имели возможности привозить имеющиеся у них продукты. У них не было транспорта, кроме того, им приходилось опасаться грабителей, румынских солдат, бомбежек и прочих проблем.

После освобождения Одессы постепенно все стало меняться в лучшую сторону. Довоенные советские деньги, потерявшие покупательную способность в сотни раз, все же начали выполнять свою платежную функцию. Торговля оживилась, а жители города вспоминали довоенные цены как что-то сказочное. Как, например, когда-то можно было купить настоящее пирожное за 22 копейки. Теперь пустая бутылка из-под воды стоила пять рублей.

Разрушенный город с его предприятиями нужно было восстанавливать. На заводах и стройках оплата производилась по довоенным расценкам, и работавшие там люди имели возможность оплачивать только те продукты, которые им продавали по карточкам. При их утере семья была обречена на голод.

По ночам приезжали за теми одесситами, которые во время оккупации работали на каких бы то ни было предприятиях, а тем более «сотрудничавшими». Румыны во время войны расправлялись с евреями, цыганами, нарушителями их законов «на показуху». Чекисты-коммунисты чинили расправу без лишнего шума, деловито.

«Черные вороны» работали без устали. Никого на улицах не вешали и не стреляли, но страха у жителей не стало меньше, чем при румынах. Арестовывали по анонимному доносу стукачей, которые сами боялись себе подобных. Так начинался послеоккупационный период в Одессе.

Главное доказательство вины арестованного того периода — признание подозреваемого. И признавались все арестованные, если не хотели быть изувечены. Взрослое мужское население Одессы, побывавшие в оккупации, независимо от возраста, было обречено на отправку в лагеря или ссылки. Те, кто мог держать в руках оружие, отправлялись на фронт.

Вполне естественным следствием всего этого было то, что к лету 1944 года в городе преобладало женское население. Когда в город стали прибывать из эвакуации одесситы, не пригодные к воинской службе (преобладающее их количество были евреи, которых в первую очередь вывозили в 1941 году), они стали организовывать артели по изготовлению обуви, ремонту примусов, бытовой техники, занимались торговлей. Ничего удивительного не было в том, что все артели возглавляли и в них работали в основном евреи. Коммерсанты периода оккупации были арестованы поголовно. Конкуренции быть не могло.

## Барташевич

В нашей коммуне рядом с кухней в чулане без окон поселился сторож одной из артелей по фамилии Барташевич. Это был тихий, незаметный человек, который в тридцатые годы в белорусском селе набрел на разграбленный амбар. Он собирал и ел зерна, просыпавшиеся на землю из мешков. За это преступление он отсидел все довоенное время и почти всю войну. Выпустили его практически умирать, в 1944 году.

В действительности это был более чем честный человек, но он совершенно не умел думать о себе. Для работы на стройках он не был пригоден по состоянию здоровья, а на другие предприятия его не брали потому, что он сидел в тюрьме.

Вот он и нанялся в артель по изготовлению и ремонту обуви, расположенную на Ришельевской № 12 сторожем. Работникам артели карточек на хлеб, видимо, не давали, а зарплата была такая же, как на всех предприятиях. То есть предполагалось что человек, работающий там, должен немножечко думать о себе, подворовывать. В дальнейшем люди, приученные к такой системе оплаты и приспособившиеся к ней, клеймились советской пропагандой как «несуны».

Хозяева артели не имели времени и возможности учить своих подчиненных воровству. В Одессе такому вообще не учат. Но взять немного гвоздей или какие-то отходы кожи Барташевич не мог, очень уж он был запуган. И стал сторож худеть, а затем и опухать с голоду.

Жильцы квартиры, как могли, пробовали его подкармливать, но у них самих в 1944–1945 годах еды было негусто. Я помню, как мама налила в тарелку немного супа и дала мне, чтобы я отнес Барташевичу. Он уже не мог вставать, но поблагодарил меня, и стал быстро есть. Отдал мне тарелку с ложкой и лег отдыхать.

Мне было немногим больше шести, когда в 1945 году он опух и тихо умер. В памяти запечатлелось, как по коридору гулко протопали двое рабочих в грязных спецовках, направляясь в чулан Барташевича. У меня на глазах сотрудники коммунхоза воткнули в грязный и рваный мешок тело и понесли назад, даже не включив свет. Снесли по парадной лестнице на улицу, положили в тачку и покатили куда-то. И до меня вдруг дошло, что нельзя быть таким честным, нельзя допускать, чтобы с тобой могли так поступать.

В чулане Барташевича поселилась молодая семья. Муж, высокий шатен лет тридцати, показался мне пожилым, а жена, небольшого роста веселая блондинка — молодой. Мужчина после окончания Одесского Института Народного Хозяйства успел отвоевать и работал главбухом какого-то крупного предприятия.

Варил я как-то суп по маминому заданию, а сосед вышел из своей «конуры» в хорошем настроении:

— Давай знакомиться, я слыхал, тебя Толей зовут, а меня — Николаем, мы теперь соседи, — отрекомендовался мужчина.

— Откуда Вы знаете, что я — Толя? Вы что, ясновидящий?

— О тебе жильцы дома мне уши прожужжали — пошутил Николай.

Так мы познакомились. Сварил я большую кастрюлю жиденького супа с ячневой крупой и зажарил на постном масле «цибулю». Пригласил в нашу комнату соседа «на суп», которого в количественном отношении было для нашей семьи многовато. Николай пришел со своим хлебом. Я, как хозяин, поставил две большие и глубокие фаянсовые столовые тарелки, изъятые мной из немецкой столовой после бегства оккупантов.

Сосед заметил на их внешней стороне орлов со свастикой: «Из таких тарелок ели немецкие офицеры, а теперь едим мы с тобой». Он порезал тоненькими ломтиками черный хлеб, более половины которого оставил жене: «ей нужно питаться, она у меня в положении».

— В каком положении? В лежачем? — поинтересовался я.

— Бывает и в лежачем, а вообще-то мы ждем ребенка.

Потом Николай рассказал историю своей женитьбы:

— Когда я приехал с фронта после ранения, меня сватала красивая одесситка с квартирой, большой никелированной кроватью и толстой периной… А женился я на своей Лёльке, у которой не было ничего, и у меня, «как у латыша, хрен да душа». Ты, Толик, когда вырастешь, не гоняйся за удобствами. Жить нужно с человеком, а не с удобствами…

Вскоре они получили хорошие две комнаты на втором этаже, в доме на улице Жуковского, возле поликлиники. Николай пригласил на новоселье наше семейство и своих сослуживцев. Это был один из его самых хороших дней.

## Жизненный опыт

В соседнем дворе № 26 дети нашего возраста стали «совокупляться». Посреди двора две девочки стали спорить, кто из них чаще и с кем «погулял». Мамы услышали, стали выяснять отношения. Повели девочек к врачам, но ничего не повредили им сверстники, и все успокоились.

Мама Шурика, управдом, подозвала сына и строго спросила: «е…л?» Шурик ответил утвердительно. Других вопросов не последовало. Маме, видимо, было достаточно узнать, что ее сын в этом отношении, по крайней мере, развивается нормально.

Наш многокоммунальный двор ничем не отличался от соседних. Он был почти образцово-показательным, в котором проживали обычные одесские семьи. «Хорошим должен быть народ, кто лучше всех живет…»

В составе компании из дворовых ребят нашего квартала мы часто посещали Привоз, который имел тогда убогий вид. Забор отсутствовал. Рыбные корпуса были целыми, но грязными и неухоженными.

«Продавцы» ходили плотными толпами и держали в руках куски хлеба, завернутые в газету, или другие продукты, цены на которые были астрономическими. Буханка хлеба стоила сто рублей. Торговаться бесполезно — цена твердая.

Несколько ближе к Преображенской располагались крестьяне, в основном на земле. Основными продуктами, которые они предлагали, были яблоки, картошка и макуха. Макуха была не очень твердой, ее было легко делить, она ломалась руками. Отжим масла был неполным, и она казалась нам очень вкусной. Продукты лежали на газетах кучками или в плетеных корзинах.

Справа, в здании «фруктового пассажа» продавалась мясная продукция. Товар лежал на стеллажах и прилавках — нам делать там было нечего: оттуда не убежишь. Когда наша компания проходила мимо продающих макуху и яблоки, крестьяне обхватывали свой товар рукам и громко кричали: «нэ пидходь!» Если кто-то из них зазевался, каждый из нас, кто был поближе к поклаже, хватал, что мог, и вся компания бежала к воротам зоопарка, а под них мы проскальзывали быстрее собак и котов.

На территории зоопарка находился кузнечный цех, в котором работал отец недавно приехавшего из Киргизии нашего нового компаньона Изи. Там мы по-братски делили доставшееся нам продовольствие и шли рассматривать животных. Крестьяне никогда не пробовали догонять и отнимать свои продукты потому, что бросить то, что оставалось никто позволить себе не мог. Мы были не одни такие на Привозе.

Изя с отцом, работавшим кузнецом в зоопарке, и мамой жил в глубоком подвале рядом с нашим домом, в 21-м номере. Подвал располагался сразу после входа во двор, справа. Изя приглашал меня к себе в гости.

Как-то пришел с работы его отец, принес 4–5 крупных малосольных скумбрий и раздал всем по одной. Они жили очень небогато, но он с такой легкостью одарил и меня, что это мне запомнилось навсегда. Их семья в Одессе так и не прижилась, они уехали назад в Киргизию, где им, наверное, жилось до того лучше.

Вспомнилось мне первое знакомство с Изей после заселения его семьи в глубокий подвал. Его мало беспокоило, что жилье очень неважное, и увидев меня, он сразу предложил пройтись по городу. Я повел его по Ришельевской к Оперному театру. Справа была развалка, слева дом развалился позже. Обошли театр. Недалеко от лестницы, ведущей к театральному переулку, мне повезло найти красивую большую линзу. Это произошло у Изи на глазах, он такую тоже захотел, но второй не было.

Тогда он предложил покататься на перилах лестницы. Свою находку я положил возле металлической верхней тумбы и поехал. Когда поднялся, обнаружил пропажу увеличительного стекла. Я спросил нового друга-товарища: где стекло?

— Вон идут два американца — они и забрали.

Я Изе не поверил. Американские моряки за время моей «езды» не могли успеть забрать линзу даже если бы бежали. Но он настаивал, а я стекло поблизости найти не смог. Куда он так быстро успел спрятать линзу — додуматься было невозможно.

Тогда мне еще не было известно понятие «еврейская голова».

Позже он прилип к нашей компании, вместе с нами выискивал «питание» на деревьях и Привозе, но о том, куда он спрятал линзу, я у него не спрашивал. Думаю, он бы рассказал. С увеличительными стеклами мне явно не везло.

«Простите нам, что мы остались живы…»

В 1944 году в город стали приезжать одесситы из эвакуации. Вначале их было очень мало. Ощущались большие трудности с транспортом, получением разрешения на отъезд с последнего места жительства, на въезд в Одессу. Мне рассказывала тетя Маня Талалаевская, с какими мытарствами ей пришлось «пробивать» такие документы.

Стали прибывать в город и инвалиды войны с фронта, одесситы и не одесситы, которым некуда было ехать, которых никто не ждал.

Калеки заполнили Привоз, все другие базары и нечетную сторону Ришельевской по всей ее длине, от Дерибасовской до Пантелеймоновской. Одеты они были в поношенную солдатскую форму, и все имели явные признаки инвалидности: без рук, без ног, было много слепых.

Сидели и стояли они вдоль уцелевших стен домов. Иногда к ним подъезжали на деревянных тележках с четырьмя подшипниками солдаты, у которых ног не было вовсе, даже обрубков. Они очень ловко управлялись со своими «средствами передвижения» посредством деревянных толкателей, которые они держали в руках.

Был среди них красивый, широкий в плечах матрос в тельняшке и бушлате, который все время шутил и посмеивался над собой и своими товарищами по несчастью, покалеченными на войне, не зло, и они радовались его приезду.

Не помню случаев, чтобы покалеченные на войне люди, выпрашивающие подаяние, носили ордена или медали. Возможно, им было стыдно за свое государство, которому они оказались не нужны.

Родители моих сверстников, вернувшиеся с войны не калеками, часто отдавали свои ордена и медали детям и те играли в пожара (разбивали медалями кучки копеек). Никто не думал, что эти кругляшки стоили людям крови.

Иногда на выцветших гимнастерках можно было видеть черные, красные, желтые полоски, означающие степень ранения, но это было не потому, что они хотели что-то кому-то показать. Просто не думали о них. Трудно сказать теперь, кому было хуже — убитым или этим убогим.

Пережившие оккупацию старались помалкивать об этом «постыдном» периоде своей жизни. Кто мог, собирал подписи о своей «партизанской деятельности» в тылу врага. Из сотен настоящих подпольщиков в живых остались единицы, остальные появились неоткуда, как и «инвалиды войны».

Многие настоящие безногие, безрукие, слепые инвалиды не имели никаких документов, они прямо после лечения в полевых госпиталях оказались никем. Кому жаловаться? И на что? Но любящим женщинам и такие были нужны, если они только без рук или ног. О них весело шутили: «Без рук, без ног — на бабу скок! Кто это?» Деревенские думали, что это — коромысло.

По дороге на Толчок просила милостыню красивая безногая женщина на двухколесной тележке, она играла на баяне и пела военные песни. Слепой мужчина держался за спинку тележки. У женщины были глаза, у мужчины руки и ноги. Она была штурманом, а он — тягловой силой. Перед тележкой лежала тряпка, в которую кидали мелкие деньги, средства их существования — плата одесситов за их потерянное здоровье и музыку.

Позже, до семидесятых годов, кто-то привозил слепого на Массив, где он почти все летние дни нежился под солнцем, руками ощупывая камни, перед тем, как окунуться в море. Так же, наощупь он выбирался из воды.

Много написано мемуаров нашими полководцами и командирами о своих подвигах на войне. Зато почти нет воспоминаний солдат, которых эти начальники так смело посылали штурмовать немецкие позиции, преодолевать заградительные минные поля и колючую проволоку. Наши полководцы за ценой не стояли, они в своих мемуарах описывали массовый героизм, прикрывая этим свои ошибки и преступления.

Не только в нашем городе, но и по всей стране тысячи безруких, безногих, слепых и умалишенных прославляли гений Сталина и Жукова… Они и в самом деле спорили между собой, маша обрубками рук и ног, в каких сражениях проявилась полководческая гениальность того или иного маршала или генералиссимуса… Спорили до драк. Потом усаживались на какие-то лохмотья под стены домов, и заглядывали в глаза прохожим: «Простите нам, что мы остались живы…»

## Праздник Победы

Праздник Победы был очень шумным. По радиоточке Левитан много раз поздравлял оставшихся в живых… На улицах города толпились одесситы, радуясь победе, весне и солнцу. Не помню демонстраций, но точно отовсюду звучали торжественные слова о салютах в городах-героях и в столице нашей Родины — Москве.

Появилось много пьяных мужчин и женщин, которые наскребли какие-то копейки на дрянную водку без закуски… Танцевали на улицах, выкрикивали здравицы в честь Великого Вождя. Нам, пацанятам, нравилось всё, хотя в тот день не удалось ничем поживится на Привозе. Инвалиды веселились больше всех. Наконец-то Победа! Теперь все будет иначе.

Вечером засияло зарево цветных ракет и раскатилось громкое эхо салюта. Голодно и радостно одновременно, а в глазах людей — надежда…

Никогда наши люди не переставали верить словам Кормчего и его подручных. А они обещали, всегда обещали. После празднования Дня Победы в городе ничего не изменилось. Оказалось, что обманывать всех и долго — можно.

## Наши радости

Наша компания продолжала осматривать все закоулки в надежде отыскать что-нибудь съестное или хотя-бы пустые бутылки. Во дворе костела мы нашли вход в подвальное помещение школы № 49, которая еще не работала. Там мы нашли двухъярусную железную кровать, на которой вместо постели были проложены старые газеты.

Была весна, и солнечный свет проникал в подвал. Ничего настораживающего нас не было, но внезапно, как по команде, мы выскочили оттуда и больше в этот подвал не заходили. Скорее всего, там поселились инвалиды войны или просто бездомные, которых в городе было очень много.

Несколько позже в этих подвалах организовали женское общежитие швейной фабрики. Входная дверь этого общежития выходила в сторону развалки, за школой № 117, между костелом и Ришельевской. Молодые работницы фабрики постоянно стирали свой немудреный гардероб в корыте, установленном возле входа в подвал. По поводу скудного выбора вещей никто не задумывался, потому что лучшего никогда не знали.

По вечерам девушки наряжались как могли и шли в город прогуляться по улицам, мимо разбомбленных домов. Все же лучше, чем сидеть в подвале. И не только они хотели пройтись по городу, который тогда не очень радовал глаз.

Повсюду лежали и сидели инвалиды, на них никто не обращал внимания. Это был отработанный материал, никому до них не было дела, они все это понимали, поэтому старались заработать на свои «боевые» сто грамм и забыться.

Днем калеки держали культяпками рук свои кружки, а кто мог — пилотки и просили у прохожих подаяния. Подавали им очень скудно, Одесса была тоже нищей.

Против типографии «Моряк», слева от дома № 21 по ул. Ришельевской, расположилась забегаловка, в которой их обслуживали. Там продавалась бочковая разливная водка, отпускалась она в тех количествах, за которые клиенты могли заплатить. Помещение было просторным (позже в нем располагалась парикмахерская). Подвыпившие инвалиды могли там постоять, поговорить.

Почти все они были бездомными, в забегаловке они коротали время, которого у них было много. Однажды мы с Ленькой и Витькой нашли в каком-то сарае несколько бутылок из-под воды. Отмыли их и сдали в будку, в которой продавали газировку (отдельных пунктов приема стеклотары еще не было). На заработанные деньги пошли в эту забегаловку попробовать водку.

Было нам от шести до семи лет. На наши деньги нам налили 50 грамм водки. Нищие засмеялись: наша смена растет, а продавец, наливая, даже не улыбнулся. Мы выпили, закашлялись, нам водка не понравилась. Больше мы туда не ходили.

Примерно за неделю до наступления советских праздников по центральным улицам города ходили строем моряки, курсанты училищ с духовыми оркестрами. Играли военные и революционные марши.

Громко били ударники огромными набалдашниками по большому барабану, прикрепленному ремнями к брюху. Надувались щеки тех, кто высовывал часть туловища и шеи через блестящие геликоны — они были похожи на больших равликов-павликов, бодро перебирающих ногами.

Отутюженные моряки, курсанты и солдаты шли красиво, а мы — оборванные босяки бежали по тротуару поближе к ним. Попрошайки-калеки, сидевшие вдоль стен уцелевших домов, приободрялись, наверное, вспоминая времена, когда они были здоровы и сильны. Кто смеялся, кто плакал пьяными слезами… Яркий солнечный свет отражался от меди музыкальных инструментов, аксельбантов, офицерских кортиков и солдатских алюминиевых кружек нищих инвалидов.

В праздничные дни рано утром по булыжной мостовой Ришельевской и Пушкинской проходили войска. Они замыкали колонны танков, танкеток, тягачей с пушками, которые двигались к Куликовому Полю. Туда нас не подпускали — слишком уж мы были шумными и неопрятными.

Потом начинался парад тружеников Одессы и морского пароходства. Несли красивые макеты кораблей, огромных станков и шарикоподшипников, и еще — большие портреты товарища Сталина вместе с флагами и меньшие по размерам портреты его соратников.

Колонны часто останавливались, трудящиеся танцевали, распивали заранее припасенную на такой случай водку, пели веселые песни.

Вместе с такой полупьяной толпой мы проникали на Куликово поле, где стояли рядами солдаты и милиция. Через отделенные ими коридоры трудящихся пропускали мимо трибуны, с которой через мощные репродукторы кто-то торжественно поздравлял их с праздником хорошо поставленным голосом.

Люди кричали, как умели «Ура-а-а!», и рассеивались в разные стороны в районе первой станции Большого Фонтана. Потом трудящиеся через город шли к своим заводам, фабрикам и конторам, относили флаги и портреты, а крупные предприятия укладывали агитматериалы в грузовики.

Поздно вечером в Одессе, как и в других городах-героях, гремел салют… И вся Одесса разливала по стаканам, что имела. А имела она немногое, но была веселою… Поздно вечером, когда после салюта я вернулся с Куликова поля, наши соседи-коммунисты Беренштейны, большие «шаи-патриоты», пели пьяным хором на чистейшем одесском довоенном наречии:

Ми готовие до бою,

Товарыщ Ворошилоф!

Сталин — наш отэц.

Кони ситые…

Через некоторое время за подъездом соорудили проходную и установили дополнительные ворота. Работающих на швейной фабрике женщин стали пропускать только в определенное время. За опоздание на работу, как и по всему Союзу, они должны были нести строжайшую ответственность.

Как-то я подошел к этим воротам. Возле них плакали две молодые женщины: их не пускали на территорию фабрики из-за того, что они опоздали с обеда на одну минуту. Я им сказал, чтобы они шли за мной и провел их через нашу квартиру и черный ход во двор фабрики. Так я их спас от неминуемой расправы тогдашних «хозяев жизни», не думая об этом.

Повадилась ходить к маме «аферистка», как называли эту женщину соседи во дворе. Это была моложавая блондинка средних лет. От соседей она узнала, что мама привезла при румынах прокламации в село Весилиново, за что чуть не поплатилась жизнью. Аферистка стала уговаривать маму, чтобы та сказала, что листовки для распространения по селам давала она.

Мама не захотела так рисковать. «Аферистка» еще до войны разошлась с мужем, который вернулся с фронта Героем Советского Союза. Ей очень захотелось быть партизанкой, а не «находившейся на территории, занятой врагом…» Проживала она в нашем доме, но в другой парадной.

## Праздник Победы в 1946 году

День Победы в мае 1946 года праздновался очень радостно. С раннего утра в районе вокзала были собраны танки, бронетранспортеры и другая боевая техника. На Куликовом поле со стороны вокзала были установлены в большом количестве зенитки. Люди забыли обо всех своих горестях и поздравляли друг друга. Все ожидали больших перемен к лучшему. Даже больших, чем при освобождении Одессы и в первый День Победы.

Приготовились к параду все воинские части, военные училища, военные моряки и курсанты морских училищ. У всех организаций были свои духовые оркестры, которые играли на улицах целый день.

Пьяных было немного. Одесситы вышли на улицы, и в их массе стали незаметными инвалиды, которые тоже радовались Победе. Нам, семи-девятилетним, было тоже весело и празднично, мы почти весь день провели возле наших танков, орудий. Вечером все малолетки позалазили на деревья возле зениток и стали ждать салюта.

Возле зенитных орудий выстроились подразделения солдат с ракетницами, их было много. Прозвучала команда, Куликово поле ярко осветилось и одновременно прозвучал залп многих орудий. Нам, залезшим на деревья, казалось, что все это делается для нас. Восторгу не было границ. Казалось, что мы кричим «ура» громче всех.

После салюта мы в приподнятом настроении шли по Ришельевской домой. Оживление в городе не спадало. Когда я пришел домой, то был очень удивлен тем, что в нашей комнате был накрыт стол. Пир устроили вскладчину все жильцы, с которыми мама пережила оккупацию. Еды и вина было немного. Для меня места не нашлось, потому что гости расположились вокруг стола даже на кровати. Я залез на шкаф и оттуда наблюдал за банкетом. Мне подали кусок хлеба с маленьким ломтиком сала. Съел я праздничный ужин очень быстро, и почти сразу заснул.

Стали возвращаться с войны уцелевшие солдаты и офицеры. Редкие семьи обрели своих мужей и отцов. Большинство женщин так и не дождалось своих мужчин, но все равно их ждали. Они, как и моя мама, ходили к гадалкам, которых развелось очень много. Всем им предсказывали скорую перемену к лучшему…

Еще позже стали возвращаться военные, выглядевшие значительно лучше ранее прибывших фронтовиков. Они вряд ли участвовали в боях или бывали на передовой. Такие старшины и младшие офицеры привозили из Германии для себя вагоны трофейного имущества — мебель, кожаные пальто, радиолы и другие ценные в то время вещи. Одеты эти военные были в новенькие кителя, хромовые сапоги, выглядели откормленными и явно не сидели в окопах.

В основном это были прислуживавшие высокому начальству штабные работники, «умеющие жить». Им довелось по окончании войны помогать своим покровителям вывозить трофейное имущество в Москву, и при этом они, разумеется, не забывали о себе.

Авторы многочисленных мемуаров, полководцы, «покрывшие себя неувядающей славой», не удосуживались вспомнить о расхищении этого добра, доходившего до мародерства. Впрочем, им было некогда вспомнить и о том, как они умудрились уложить в «вечные казенные квартиры», самое меньшее по четыре наших солдата на каждого убитого немца. Для них всегда и всё во время войны было неожиданным, только кровь доверенных им бойцов всегда была ожидаемой и прогнозируемой.

Отец Игоря 9 мая 1946 года был в Москве. Игорь рассказывал нам, как он с папой проходил по Красной площади, и видел самого Сталина, который «делал ручкой». Он рассказывал об этом так, что нельзя было усомниться, что он видел живого бога. Его авторитет среди нашего брата возрос: Игорь сам видел того, кто лично победил Гитлера.

Летом приехал к кому-то из соседей москвич, наш ровесник. Он рассказал, что Сталин небольшого роста, и одна рука у него повреждена. Не иначе, пацан наслушался врагов народа. Как мог великий вождь, победивший зверя-Гитлера, быть шибздиком сухоруким? Обратились за разъяснениями к отцу Игоря. Тот ответил:

— Да, Иосиф Виссарионович небольшого роста, как и его соратники, зато у них столько ума, как у Ленина.

Нам такого объяснения было достаточно, мы даже не спросили — у всех вместе, или у каждого? Но подозревать в шпионаже москвича перестали. Кто-то предположил, что руку товарищу Сталину сломала «международная гидра» еще в революцию. Сведения об этой самой международной гидре часто передавали по радиоточке. Кто она такая? Ясно, что многоголовая. Это подтвердилось после того, как Игорь вынес во двор подшивку журнала «Крокодил».

Среди вещей, привезенных отцом с Кольского полуострова, Игорь обнаружил железную коробку с пистолетными патронами. Он вынес ее на развалку, примыкавшую ко двору. Недолго посовещавшись, мы налили в коробку немного керосина и подожгли. Убежали во двор, заговорщицки перемигиваясь, и стали ждать. Не дождавшись взрыва, вернулись, и увидели, что коробка от нагрева покраснела. Убежали снова, и вовремя: рвануло, да так, что повыбивало стекла во многих квартирах.

Соседи с криками повыскакивали на веранды и балконы, а нам ничего не оставалось, как бежать на улицу. Некоторые жильцы погнались за нами, угрожая «на всю Жуковскую» поотрывать ноги и повставлять спички, потопить в дворовом туалете, накостылять, и многого другого наделать, если только мы появимся в их дворе…

Откуда-то появился стекольщик и стал кричать «стекла вставляю». Как он узнал, что пришло его время? Две недели мы обходили стороной двор № 23 по ул. Жуковского, а пострадавшие жильцы, увидев нас издалека, выкрикивали свое «неудовольствие», и на всякий случай продолжали грозить. В дворовой парадной оставались все это время нетронутыми «наши» горячие пирожки, выпекаемые в столовой. Пропадали. Потихоньку стали снова собираться в парадной играть в шахматы.

В том магазине, в котором продавали по карточкам халву и сахар, появился по коммерческим ценам белый «пеклеванный» хлеб. Очереди за ним были такими же, как за мукой, продававшейся по карточкам. Женщины, работавшие на швейной фабрике, давали нам деньги на одну буханку с тем, что половинку хлеба получат они. Мы протискивались на карачках, пробираясь сквозь лабиринт ног людей, стоявших в очереди. И здесь нам грозились «глаз на жопу натянуть», но не натягивали…

Когда выходили из магазина с хлебом, то изредка получали под зад, а иногда все обходилось и вовсе тихо и мирно. Заработанное делили между участниками прорыва в магазин, и гордо несли домой свой «кусок хлеба».

В наш класс пришла преподавать украинский язык новая учительница, полная женщина с типично украинской внешностью. Начала урок по-украински, но вскоре перешла на русский, и стала нам вдалбливать в мозги изречения вождя и учителя: «лес рубят — щепки летят», «чем ближе к коммунизму, тем больше врагов у советской власти», и еще много тому подобного. Однажды во время переклички она обратилась ко мне:

— Маляр — типично украинская фамилия, а почему ты числишься русским?

Мама знала, что записывать меня по отцу украинцем не следует. Он считался «пропавшим без вести», семья побывала на «территории, занятой врагом». Для чего любительнице сталинских афоризмов понадобилось «выводить меня на чистую воду»? В Одессе тогда о Степане Бандере даже не слыхали.

Детей родителей, побывавших в оккупации в классе было больше половины. Мы не знали, что наши мамы имели статус, почти приравненный к семьям «врагов народа», разве что чуть-чуть не дотягивали… Мамы обо всем умалчивали, и при нас расхваливали «родную советскую власть», опасаясь, как бы мы, повзрослев, не стали «врагами народа». При они этом не озлоблялись, напоминая рабочих загнанных лошадей, которые еще умудрялись выкармливать нас, жеребят, да еще и шутили, иногда очень удачно.

Как-то пришла к нам в гости мамина довоенная подруга с ребенком, немного косившим одним глазом. «Один глаз на Кавказ, а другой — на север» — определила мама косоглазие, и обе женщины рассмеялись вместе с ребенком. Так шутили в местах, откуда были родом шутницы. От мамы я впервые услышал стишок:

Сварим супчик жиденький,

Но зато — питательный.

Сами будем тоненькими,

Но зато — пузатенькими…

И присказку: «с миру по волосине — голому петля на шею».

Не всегда я понимал смысл шутки, но было смешно.

Одесский трамвай

Большим событием для города был пуск трамвая по центральным улицам. По Ришельевской стали ходить трамваи № 1 и № 17. Тогда я услышал впервые песенку:

Трамвай идет, как черепаха,

Водитель спит, как бегемот,

Кондуктор лает, как собака:

Пройдите, граждане, вперед!

Трамваи были едва отремонтированы, чаще всего без окон и дверей, и пацаны старше десяти облепляли их снаружи и сзади. Мы были еще малыми, такая радость была нам недоступна. Однажды задний буфер трамвая оказался свободным, и Ленька уселся на него со словами: «вот как ездят взрослые!».

Трамвай тронулся и начал набирать скорость. Оказалось, что буфер проворачивается вокруг своей оси, видимо, поэтому он и оказался незанятым. Ленька при падении ухватился за буфер руками, а «пятой точкой» стал тормозить разгоняющийся трамвай. Его заносило под днище и выбрасывало наружу, но Ленька держался мертвой хваткой и протормозил по булыжной мостовой через перекресток до книжного магазина «Два слона».

Руки, в конце концов, не выдержали нагрузки, и Ленька остался сидеть на мостовой. Верхняя часть туловища и голова были густо вымазаны мазутом, на лбу и на руках четко обозначились ссадины и кровоподтеки. От трусов остались длинные лоскуты, висящие на резинке сзади, но спереди они выглядели как новые.

Прохожих было не так много, но все, кто находился неподалеку, остановились и наблюдали за происходящим с неподдельным интересом. На углу сидел на своем рабочем месте чистильщик обуви дядя Коля, занимавшийся своим ремеслом и до войны, и во время оккупации. Он всегда шутил, и казалось, его ничто не касается из того, что происходило или происходит.

Это был пожилой, но подвижный, даже несколько вертлявый худощавый мужчина, который обращался со своими щетками как фокусник. Он чистил ботинки румынским офицерам, затем немецким, которые приучили его не называть цену за выполненную работу.

Немецкие офицеры садились в кресло важно и ставили ногу на красивую подставку, а дядя Коля священнодействовал так, что его работа не могла не понравиться. Редко какой немец не бросал оккупационные марки в его сторону. Солдаты почему-то не садились в кресло, а мы с Ленькой часто подходили к дяде Коле, который всегда говорил о чем-то веселом. Когда бомба попала в дом, возле которого работал чистильщик, он перенес свое имущество через дорогу, и сидел там уже почти до конца сороковых годов.

После освобождения города дядя Коля чистил обувь блатным и приблатованным, которым тоже не следовало называть стоимости работы: они расплачивались и без того достаточно щедро.

Когда не было клиентов, он играл со шпаной, постоянно крутившейся вокруг него в наперсток, карты, орел-решку и почти всегда выигрывал. Он не был ничем занят, когда недалеко от его рабочего места с криком отпустил буфер трамвая Ленька. Дядя Коля вдруг залился громким смехом, и еще громче, чем смеялся, спросил: «Ну как покатался?»

Ленька ничего не ответил, только сердито на него посмотрел, ухватился руками за сильно побитую задницу и с плачем побежал к нашему дому. Все, кто это видел, смеялись, показывали на него пальцем, а я понимал, что ему больно, и он не напрасно плачет и держится за свое пострадавшее место.

Ленька побежал наискось по булыжной мостовой домой, ни на кого больше не обращая внимания. За то, что он так ловко ухватился руками во время падения за буфер трамвая, его прозвали «мартыном», так эта кличка и прилипла к нему.

В 1947 году дядя Коля исчез, и никто этому не удивился. Конечно, он мог оказаться аргентинским или еще каким-нибудь шпионом. Тогда все было возможно.

Кстати, о магазине «Два слона». Во время оккупации этот магазин не работал. Окна и двери были закрыты дореволюционными гофрированными металлическими роллетами, сломать которые было сложно. После освобождения магазин открыли. Он не был разорен. Посреди торгового зала стояли изготовленные в натуральную величину два слона, которые разделяли помещение на две части. Они были как живые, и никому не приходило в голову, что их можно повредить. Даже нам.

В правой части продавались книги, расставленные на витражах, систематизированных по возрастному признаку. Лежали красиво разрисованные книжки-гармошки Маршака, Чуковского, Маяковского для самых маленьких. Стоили они очень дешево, по 20–30 копеек. За такие деньги было невозможно больше ничего купить.

Если сместиться влево, то можно было попасть в мир басен Крылова, еще левее располагались детские книги о революции, Ленине и Сталине.

Слоны отделяли книжный отдел магазина от той его части, где продавали игрушки. Откуда они брались в разоренном городе, объяснить невозможно, но на витринах лежали оловянные солдатики, пешие и конные, русской армии и красноармейцы. А еще левее были представлены различные куклы, матрешки, мишки.

В конце магазина располагался отдел елочных игрушек. Все три входные двери были открыты в течение рабочего дня, дети толпились возле игрушек, но мало кто имел возможность их купить. У нас таких мыслей даже не возникало, поэтому цен на игрушки того времени я не знаю.

Слоны эти выстояли революцию, гражданскую войну, оккупацию, голодовку 1947 года, но в 50-х какому-то начальнику пришла в голову идея поломать их.

Это наша власть всегда умела делать «для народа» быстро и хорошо. Когда слонов выбрасывали по частям на улицу, они наглядно показали всё свое буржуазное нутро, состоявшее из толстой спрессованной бумаги, папье-маше.

## Жирный Тонька-Сороконожка

Как могли мы не исследовать Аркадию? Тем более, что трамвайная остановка находилась рядом с нашим домом. В будний день ожидающих трамвай № 17 было немного, и среди худощавых одесситов выделялась дама невиданных размеров.

Подошел трамвай. Мы запрыгнули на площадку, приткнулись в углу, засуетились желающие занять сидячие места. Со скрипом дрогнул в сторону школы вагон. Это оттолкнулась от земли и встала на подножку дама. Она попробовала протиснуться боком в открытые двери вагона, но живот, обтянутый крепдешиновым платьем, не позволял этого сделать.

Дама неожиданно завизжала: «Неужели в вагоне нет настоящих мужчин, чтобы мне помочь?» Вскочили двое элегантно одетых мужчин, один стал тянуть женщину за левую руку, второй пробовал втащить ее в вагон за талию. Дама только ойкала. Вагон тронулся, помощники, тоже ойкнув, упали, а дама влетела к свободным задним местам, и ловко уселась на двойное сиденье. Мужчины, помогшие ей втиснуться в узкую трамвайную дверь, бодро поднялись и подбежали к женщине, которая их поблагодарила: «Я даже не думала, что в Одессе еще остались джентльмены…»

Поощренные такими словами, молодые люди заискрились в лучах жаркого солнца, светившего в окна вагона. И толстушка разомлела, ее тонкое платье стало намокать от пота, струившегося по шее и рукам. Она стала похожа на очень полную русалку, расплывшуюся от удовольствия. Кто-то из пассажиров заметил сходство:

— Русалка на скамье сидит…

— Ты, кот недоученный, не видишь, что у меня есть ноги?

— Мене издалека показалось, что это — плавники!

На углу Пантелеймоновской почти все пассажиры сошли на Привоз. Вагон опустел. Вошел слегка подпитый работяга, уставился на ранее невиданное чудо:

— Ну и жопа!

— Чтоб у тебя такие щеки выросли! — потная женщина вспыхнула, как спичка. Всем пассажирам понравился ее ответ, добавлять что-либо уже не было необходимости. Засмеялась и шутница. Кто-то добавил:

— Наверное, нелегко постоянно носить такую красоту на ногах…

— Конечно, на твоих искривленных спичках такое не удержишь!

Трамвай сделал круг возле конечной остановки. Дама встала. От долгого ерзания на скамейке, мокрое крепдешиновое платье комком воткнулось ей в зад, и один из кавалеров осмелился его вытащить.

— Как Вы смеете?! — толстушка сверкнула обеими глазами, но увидев сконфуженное лицо ухажера, подобрела: «Ладно, помогите мене выйти». Кавалер вышел из вагона, протянув две исхудалые руки для приема груза. Дама протиснулась в дверь:

— Неужели некому меня подтолкнуть?

Охотник нашелся. Он долго лапал задницу, не веря глазам своим:

— Скажите пожалуйста, кто и чем Вас кормит?

Женщина истерически закричала, и вывалилась в руки ухажера, который не ожидал такого подарка. Ноги его подкосились, и он исчез под телом красавицы. Дама вскочила на ноги неожиданно проворно, и так же легко подняла «потерпевшего», взяла его под руку, и парочка пошла по центральной аллее к морю. Женщина шла, широко раскидывая ноги, похожие на ласты, а зад ее колыхался, как-то отдельно от туловища.

Недалеко от нас с Ленькой стояли оторопевшие пассажиры.

— Кто может такое чудо прокормить?

— Ей на обед нужно никак не меньше ведра борща!

— А тебе что? У нее, видимо, уже есть кормилец…

— Таки да… — засмеялся «экономист» — хорошо, что это не моя забота.

— А кто-то таки может ее содержать! — с нотками зависти пропищал какой-то старичок.

Позже мы узнали, что толстушка проживала недалеко от нашего дома, и ее знали все соседи из нашего и соседних дворов еще с довоенного времени.

У нее даже было прозвище: Жирный Тонька-Сороконожка. Одесса — таки да — большая деревня. Очень полные женщины считались у нас красавицами еще долго после голодовки…

## Деньги

Рядом с нашим домом на Ришельевской стали продавать мороженое. В маленькую ручную механическую квадратную форму вставляли кусочки вафельного коржика, на него накладывали ложечку мороженного, и оно опять накрывалось кусочком коржика. При нажатии на толкатель получалась порции мороженого квадратной формы.

Как-то мама что-то продала. Оставила деньги на столе. Я проснулся, увидел деньги, взял их и пошел к своим друзьям-товарищам. Собрал их всех и повел угощать мороженым.

Продавщица не стала вникать, откуда у меня, шестилетнего, деньги. Видимо, еще и обсчитала меня. Но мороженного мы съели по несколько порций. На другой день я проснулся от громкого крика мамы, которая ругала мою сестру Дину, посчитав ее виновной в пропаже денег. Я понял, что влип. Продолжал делать вид, что сплю. Однако, все равно пришлось «проснуться». Мама спросила: «сынок, ты брал деньги?» Что оставалось делать?

— Брал.

— А куда ты их дел?

Пришлось все рассказать. Мама сперва успокоилась. Потом заплакала. Прокормить нас ей было не на что. С тех пор я понял, что деньги — это не просто бумажки, на которые можно покупать мороженое.

На Жуковского 23 рядом с воротами стали продавать соевые сырки, завернутые так, как потом заворачивали обычные. Они были очень дешевыми, и за ними всегда стояла очередь. По радиоточке говорили о полезности сои очень много, но можно было не говорить ничего. Когда наступает голодовка, и даже когда она заканчивается, соя становится самым полезным продуктом для населения.

За соевыми сырками стояли в очереди голодные старушки, пионеры в красных галстуках, и мы, когда зарабатывали небольшие деньги за перенос угля соседям, за потопление котят в дворовом туалете, и за подобные платные услуги…

Осенью в столовую привозили огромные херсонские арбузы, и нам предлагали «халтуру», — помогать разгружать грузовики. Мы всей компанией дружно переносили полосатых красавцев, но самых больших кто-то из нас изредка проносил мимо входа в столовую, в подъезд. После окончания работы хозяин давал нам еще по одному арбузу, но не такому большому, как мы «свистнули».

После закрытия столовой на выносном деревянном столике появлялись в продаже чудо-арбузы. Это мы, грузчики, торговали в центре города честно заработанным товаром. Мужчины, возвращаясь домой с работы, покупали не торгуясь, а мы несли домой самые маленькие арбузы, какими с нами рассчитывались, и деньги, за которые можно было купить недорогую колбасу и соевые сырки.

Государственная цена килограмма таких арбузов была невысокой. Вес каждого «нашего» был не менее 8–10 килограммов. Такие встречались нечасто, на весь грузовик их набиралось не более десятка, а мы успевали прихватить не более половины. С этого же столика днем старенький еврей продавал выпекаемые в столовой пирожки, к которым мы имели доступ из парадной. Нанесенного нами ущерба в столовой не замечали, мы не жадничали, «жадность фраера губит». А какие мы фраера? Что спереди, что сзади…

Возле восстановленной школы № 117 собирались пионеры, некоторые в белых рубашках, с нашивками на рукавах — звеньевые и более высокое «начальство». Похоже было на то, что они не из бедных семей. Ходили важно, видимо, подражая своим папам. Выходил пионервожатый, звучала команда: «Отряд! Равняйсь! Смирно!». Выбегали вперед горнист с барабанщиком, и отряд под визг горна и стук барабана двигался в сторону бульвара Фельдмана.

Хорошо, наверное, быть пионером — так нам думалось — им не нужно воровать арбузы, все у них есть… Это было не так, многие из пионеров были из таких же нищих семей, но дисциплинированно шли в строю под урчание пустых желудков и визжание горна. Шли во Дворец пионеров — Воронцовский дворец.

Там работали различные бесплатные кружки, в них принимали всех желающих, даже не пионеров. Тех, кто хотел ходить в танцевальный кружок, было немало, в радиокружок тоже, на остальные секции желающих находилось немного. Зашел я как-то в скульптурную секцию, мне предложили вылепить что-то из зеленой глины. То, что у меня получилось не понравилось ни мне, ни преподавателю кружка.

По вечерам мимо окон нашей квартиры с громким свистом по кругу пролетала большая стая стрижей, отличавшихся от ласточек тем, что у них не было белых брюшек. Они были полностью черными и очень красивыми. Стрижи летали часами, до темноты, и никого не раздражали, скорее — успокаивали и помогали заснуть. Раньше я их не замечал, а когда однажды понял, как им весело, то мне пришла в голову мысль, что наша квартира счастливая. Все три семьи пережили оккупацию. Единственной покойницей оказалась моя бабушка Пелагея, но она умерла естественной смертью.

С наступление темноты от Преображенской каждый день нетвердой походкой шел мужчина, неизменно кричавший «За Родину, за Сталина!». Свернув на Ришельевскую, он направлялся в аптеку, где продолжал кричать что-то из боевой лексики: «прикрой меня слева» или что-то еще, и требовал обезболивающее. Обычно он получал свою дозу морфия и уходил.

## Выборы — 1946

Сразу после окончания войны в городе стали готовиться к выборам в советы различных уровней. Заранее развешивались плакаты, стенды со списками избирателей. Люди интересовались кандидатами, приходили на встречи с ними.

В день выборов население спешило к избирательным участкам. В них были, как водится, установлены урны, заседала комиссия. Возле входа дежурила милиция в форме, внутри — в штатском.

С шести утра работал буфет. Жители района спешили проголосовать пораньше и занимали очередь за пирожками или за чем-нибудь еще съестным, что привозили для продажи населению по очень низким ценам. Играла патриотическая музыка, на полную мощность включались усилители. Первых голосующих снимали фотографы для публикации в местной печати и брали у них интервью.

После выборов в районный совет наша соседка Зина Булатова прибежала в квартиру и громко сообщила всем соседям, что вычеркнула всех и проголосовала за товарища Сталина. За такие действия ее даже никуда не вызывали. Она также сообщила, что продается в буфете, и что продукты заканчиваются — чтобы спешили. Соседи сломя голову кинулись вниз.

Избирательный участок находился на самом углу нашего дома в сторону Ришельевской. Мама успела проголосовать и купить в буфете несколько пирожков. Их продавали голосующим без учета количества едоков в семье. Мы с сестрой ждали возле входа, малолетних не пускали. Сестре еще не исполнилось шестнадцати, а голосовать имели право с восемнадцати. В буфет можно было пройти после голосования и попасть туда иначе было невозможно, поэтому процент голосующих до обеда составлял 99.97 % и это были не дутые цифры.

Вернулись домой, мама сварила на примусе чай, и мы втроем устроили пир. Выпили по стакану кипятка и съели по пирожку с мясом, полученному в честь выборов и только благодаря советской власти… Но меньше всего мы думали о политике.

Люди в самом деле были уверены в том, что мы теперь будем строить самое справедливое в мире общество, да еще и с такими руководителями партии и правительства, каких нет ни у кого. А то, что сейчас плохо, так ведь лучше и не было никогда, кроме небольшого перерыва перед войной. И то не всем. А всем хорошо не бывает.

## Наша учеба

«Жемчужина у моря» была сильно изранена войной, и городские пацаны в свободное время собирались на развалках. Выискивали какие-то железяки, дрались из-за них, потом мирились.

На бульваре Фельдмана (Приморском), рядом с Воронцовским дворцом, в беспорядке стояли шестиствольные минометы, пушки с развороченными стволами. Немецкая техника была по-жабьи камуфлирована.

Сам дворец был огорожен тогда красивой кованой решеткой с такими же воротами, возле которой стояли львы — их позже перенесли к главному входу. Справа от решетки, возле заборчика, стояли три поврежденных танка — один Т-34 и два «Тигра». Выглядели они новыми, все люки, сверху и снизу, были открыты, можно было залазить в них, выглядывать в смотровые щели и вращать ручки, поворачивающие башни. Потом в танках стали справлять нужду подростки, хотя имели возможность делать то же самое хоть на всем бульваре: прогуливающейся публики еще не было. «Танкисты» вставляли задницу в верхний люк, и боевые машины вскоре превратились в стационарные отхожие места, правда без подключения к городской канализации.

На ул. Ришельевской угол Греческой начал работать кинотеатр им. ХХ-летия РККА (потом — им. Фрунзе). Одной из первых кинокартин, показанных в нем, был фильм «За тих, хто в морі» — именно так, на украинском языке, было написано на большой афише. На ней же изображалось само море и торпедный катер, рассекающий волны.

Мой друг Ленька читал пока еще слабовато, но прочитал очень быстро: «Затих кот в море!» Удивительного в этом ничего не было — мы в тот день потопили котят в сливном люке дворового туалета. Такая работа хозяевами окотившейся кошки была оценена по пять рублей за голову.

Соседи из всех ближайших дворов часто предлагали нам «халтуры» по переноске угля от подъездов до мест хранения или доставке стройматериалов… Мы никогда не отказывались. Жильцы, нанимавшие нас на подобные работы, считались небедными. Это были продавцы газированной воды, арбузов, рубщики мяса на Привозе, работники артелей — в общем, солидные люди, для которых кусок хлеба не был мечтой.

В школе моими соучениками были такие же полусироты с примерно равными материальными возможностями. Под стать ученикам, в начальных классах были и учителя. Одна учительница вела все предметы, кроме физкультуры и арифметики, учила нас чистописанию и строго наказывала за кляксы.

Учитель арифметики, Иван Григорьевич, очень сложно объяснял, как нужно умножать и делить дроби. Мало кто из детей понимал что-то в его изложении. Проще было сесть дома с задачником Перышкина и додуматься до всего самостоятельно. Зато он уверенно рассказывал нам о перспективе обучения в ремесленных училищах: «Там через три года можно будет научиться специальности и начать зарабатывать деньги!» — при этих словах он смачно щелкал пальцами. Видимо, учитель любил деньги, но сам никогда ими не обладал.

Ремеслух было много. Учащиеся в них ребята выглядели неприглядно, было видно по их голодным глазам, что их кормят не лучше, чем нас наши полунищие мамы.

Учителям платили такие зарплаты, что более грамотных найти было невозможно, но почему-то и они не хотели работать слесарями…

Когда кто-то из школьников находил в развалке что-то стоящее и приносил в школу, то учителя с грозным видом отбирали вещь, якобы за то, что нельзя такое приносить в школу. Так у меня учительница отобрала книгу на немецком языке про Дрезден, в которой были цветные фотографии этого города до его уничтожения. При этом она так озверела, что я побоялся рассказать маме о случившемся.

Уровень нашего обучения в школе был настолько низким, что мы с трудом читали дешевые книжки-гармошки для детей, продававшиеся в магазине «Два слона» — «Возьмем винтовки новые…» и прочие подобные.

Научился я читать, когда заболел и нашел дома дореволюционное издание А. С. Пушкина в бархатном переплете. Недели за три я одолел эту книгу и многое запомнил наизусть. После этого стал читать все, что мне попадалось на русском или украинском языках.

После второго класса меня перевели в школу № 116, расположенную по Ришельевской № 32. Во двор школы можно было попасть и с Успенской, 44.

Перед началом занятий школьники собирались во дворе, казавшимся нам просторным. Играли в маялку, которую мастерили из кусочка меха с грузилом (каждый — свою). Играли и в чет-нечет на «кины» — куски пленки из фильмов, и в «пожара» — на мелкие деньги. Все игры сопровождались громкими криками и иногда заканчивались драками.

В классе я сидел на одной парте в Вовой Баланом, у которого отец тоже погиб, и мама его возила в ленинградское Нахимовское училище, но из-за каких-то проблем со зрением его не взяли. Недалеко от нас сидел наш друг Вова Будниченко, у которого отец пришел с фронта, но излишне часто «воспитывал» Буду, как мы его звали, в свободное от работы время посредством ремня.

Мы знали, что Вова боится своего отца панически, и решили подшутить над ним. После окончания занятий подошли к Буде и объявили: «Учительница сказала нам, чтобы мы пошли к тебе домой, и рассказали твоему папе, как ты себя ведешь, и еще — о твоих двойках». Мы учились не лучше его, но он поверил, купился.

— А вы скажите, что у меня дома никого не было.

— Как мы можем обманывать учительницу?! — Мы же октябрята, честные ребята!

Вова Буда пошел домой, мы — за ним. Он стал психовать, бросать в нас камни, но мы шли. Тогда Буда нашел ржавую трубу и кинулся с ней наперевес в атаку.

— Ладно, мы скажем, что никого не было дома, но ты — тоже октябренок!

— Идите на х…!!! — глаза Буды налились кровью, как у быка.

Он поднял трубу и пошел на нас.

— Хватит пить мою кровь!

Мы не стали дожидаться развязки, и срочно пошли в противоположную сторону.

## О жизненном пространстве

В Одессу на руководящие должности со всего Союза хлынули коммунисты-тыловики. Как организовывать приличные кормушки, их учить было не нужно. Большинство вернувшихся в город одесситов «Золотого теленка» читало. Открылись всевозможные тресты, управления, артели, ЖЭКи и еще много чего…

Те, кто побывал на «территории, временно занятой врагом», оставались в таком же положении, как при румынах или немцах. Их не принимали даже на обычную работу, соответствующую их квалификации.

Еще до окончания войны одесское городское и обласное руководство распределило между собой дачные участки вплоть до шестнадцатой станции Большого Фонтана, но дома отдыха и санатории не тронули — при Сталине такого делать было нельзя. Те, кто вернулся с фронта после Победы, заселили дачные участки Люстдорфской дороги. Центр города продолжал жить в коммуналках, привычно по-нищенски…

Среди приехавших из эвакуации далеко не все были пламенными большевиками. Нахлынувшая в Одессу еврейская беднота была такой же нищей, как и наши мамы, и очень часто без мужей. Единственное отличие состояло в том, что их легко принимали на работу. Среди их детей встречались пацаны, наши сверстники, воспитанные плаксами. Наверное, это качество было семейным. Их заунывные жалобы «я — бедный еврей, у меня ничего нет…» никого не трогали. Почти все одесситы жили не богаче…

Те, кто мог им помочь, шутили: «Вся власть в Одесса — наша. Наши чекисты, наши коммунисты! И мир не без добрых людей, но плачущий еврей позорит нацию». Так высказался как-то мой одноклассник Мермельштейн.

Повезла меня однажды мама «на откормку» к своей сестре Ефросинье в город Измаил. Они тогда жили значительно лучше нас. Недалеко от берега Дуная я зашел в школьный магазин и разговорился с продавцом.

— Говорят, в Одессе спрашивают, «а что я с этого буду иметь?» Это правда?

— Так у нас говорят, это правда. Только говорят такое не мне. Что с меня можно иметь? Длинную шею и мокрую жопу, как в анекдоте про гусей, с которых, правда можно иметь еще и жир… — Так я объяснил продавцу тетрадок уровень своего благосостояния. Ему стало очень смешно:

— В Одессе все такие веселые?

— Нет, только те, кого кормят…

Продавец намек понял, и достал из-под прилавка бутерброд с кусочком брынзы. От неожиданности я уставился на него удивленным взглядом.

— Ешь, это овечья брынза — засмеялся продавец. Он был похож на своих одесских коллег, но оказался добрее…

На нашем берегу Дуная почему-то не плавали гуси и утки, а на противоположном их была тьма.

— Почему нет гусей на нашем берегу? — полюбопытствовал я.

— Может быть, наши пограничники тоже кушать хотят? — пошутил продавец тетрадок.

В Измаиле мама купила цветную гофрированную бумагу, которую дома можно было выгодно перепродать — из нее крестьяне делали искусственные цветы для поминальных венков, и мы вернулись в Одессу.

На другой день пошел в школу, которая пополнилась новенькими… В наш класс добавили несколько учеников состоятельных по тем временам родителей. Одного из них, хорошо одетого Мишу, привел в класс одетый в милицейскую форму папа — подполковник Флейшмахер.

Нас пересадили по-новому: новеньких разместили на первых партах. Прошло немного времени, и родители этих детей стали замечать, что их чада стали приносить из школы вшей. Думаю, специально их никто не подсовывал. Нас стали почти каждый день перед уроками осматривать «на вшивость» — оттягивали резинки трусов, на которых любили гнездиться «животные» и их гниды. У кого резинки трусов оказывались побелевшими, тех отправляли домой, и это не было радостным освобождением от уроков.

Обычно, перед занятиями, школьники играли в свои незамысловатые игры — били портфелями и сумками друг друга. Я ударил своим портфелем Валю Когана. Не больно, но он успел выхватить портфель и со смехом побежал в сторону дворового туалета. Я бежал за ним, а он на моих глазах бросил портфель в кучу дерьма, и притопнул в добавок по нему ногой. Это была картина, вполне достойная кисти одесских художников, но их во дворе в нужный момент, как всегда, не оказалось. Пришлось вынуть из портфеля тетрадки, ручку с чернильницей и приткнуть их за пояс. Чернильницу пришлось носить в кармане брюк, что значительно снижало мою мобильность.

## Что-то для души

Вечерами, если мы не искали какой едой можно разжиться, то придумывали что-то «для души». Бегали недалеко возле своих дворов, и как-то нашли возле трамвайной остановки целую женскую сумку. Она, видимо, была украдена в трамвае, «очищена» и выброшена. Сумочка, по тем временам, была красивой, а насчет «идей» у нас проблем не было. Зашли в школьный двор, поочередно попыжились, и добросовестно наполнили ее до краев.

Темнело. Веселой компанией вернулись на трамвайную остановку, уселись на деревянную скамейку и «забыли» на ней сумку. Отошли к входным дверям школы № 117 и стали осторожно наблюдать.

На скамейку села пожилая женщина. Осмотрелась. Ничего подозрительного не обнаружила. Взяла поклажу, как свою, и пошла в сторону костела. Тогда был вход во двор костела со стороны Ришельевской, затем проход был застроен продолжением школы.

Во дворе женщина постучала в двери одноэтажной пристройки. Ей открыли, а мы побежали смотреть в освещенное окно этой квартиры. Женщина держала сумку в руках и что-то рассказывала своей подруге. Посовещавшись, они открыли сумочку на большом столе и склонились над ней…

Мы громко рассеялись, и пожилые женщины, поняли, что над ними подшутили «сопливые». Открыв окно, они бросили «ценную вещь» в нашу сторону. Не попали.

«Умные мысли» от безделья приходили кому-нибудь из нас постоянно. Поздно вечером уселись мы в парадной на входной лестнице, как коты вокруг кошки, и о чем-то задумались. Кто-то из нас выключил свет. Идея возникла быстрее, чем потухла лампочка. В 23–00 заканчивалась вторая смена на швейной фабрике «Молодая Гвардия». Ворота фабрики на ночь закрывались, и молодые работницы выходили на улицу мимо лестницы, на которой мы сидели. Решили выключить свет, и в темноте их напугать.

Расположились по углам, и когда женщины проходили мимо нас, закричали во все горло, кто как мог! Самым пронзительным голосом обладал Ленька, который сложился перочинным ножиком и горланил откуда-то на уровне женских колен. Одна из работниц, которая в этот момент находилась над ним, несла домой трехлитровый бутылёк с молоком. Испугавшись внезапного крика из-под ног, она инстинктивно размахнулась и ударила в то место, откуда верещал Ленька… Крик стал еще громче, но уже с нотами страдания, а звук разбитого стекла смешался с воплями обоих пострадавших.

Кто-то из наших не выдержал и включил свет. Ленька перестал кричать сразу и испуганно озираться на окруживших его женщин. Он не знал, что делать: убегать он не мог, толпа женщин была плотной, и он стоял с разбитой головой и залитый с головы до ног молоком. Глаза его бегали в поисках щели, куда можно было бы пронырнуть. Пострадавшая стояла рядом, что-то жалобно причитала и плакала из-за того, что не донесла бутылёк молока своему ребенку. Нам больше никогда не хотелось пугать молодых женщин, идущих с работы, особенно Леньке.

Вскоре в одном из цехов консервного завода начали выпускать мясные консервы. Работникам предприятия по талонам продавали отходы производства: кости и жилы. Мама научила меня варить борщ, жаркое, тушить жилы, для чего выделяла мне небольшие деньги для покупки овощей, томата, солений.

Свободного времени у нас с Ленькой было много, и мы продолжали выискивать по сараям бутылки, медные самовары — их принимали в подвалах «Утильсырья». В одном из сараев нашего двора, не открывавшимся, наверное, с довоенных времен, нашли шесть бутылок из-под воды. Они были грязными и нам пришлось их отмывать, перед тем, как отнести на Троицкую.

Продавец газированной воды долго рассматривал, щупал горлышки бутылок, потом сказал: «Я могу принять их по три рубля — на них нет этикеток». Мы посчитали свои убытки, но отдали ему бутылки по предложенной цене.

После этого Ленька вспомнил, где он видел этикетки от бутылок и повел меня в Зеленый театр. Там, справа от центрального входа, располагался небольшой деревянный павильон ресторана, в котором днем наводили порядок работавшие в нем женщины. Они отмывали бутылки и сливали воду вместе с отклеившимися этикетками на близлежащую территорию парка им. Шевченко. Собрали мы этих этикеток довольно много, просушили на солнце, потом посчитали, какой доход получим, если каждую из них приклеим на бутылку без этикетки. Каждая этикетка, по нашим подсчетам приносила два рубля чистой прибыли. Получалось очень много денег. Теперь встал вопрос, где взять столько бутылок.

Вечером мы обнаружили два штабеля ящиков со стеклотарой возле будки, расположенной напротив билетных касс кинотеатра им. Горького. Рядом ошивались двое моих соучеников из параллельного класса, даже тогда считавшихся «из неблагополучных семей». Клички их были «Боцман» и «Волёдя». Они разобрались в нашем «деле» очень быстро и объяснили, как быстрее и лучше загрузить себя бутылками, впрочем, сами в этом воровстве участвовать не стали. Возможно, они являлись «внештатными охранниками» продавца газводы и им нужно было показать свою работу.

Только мы взяли по паре бутылок из верхнего ящика, открылась дверь будки, и из нее вылетел с криком продавец. Мы бросились бежать через мостовую в сторону Соборной площади. Там нас поймали какие-то молодые ребята и доставили к будке, возле которой собралось много народа и уже стоял милиционер. Скорее всего подобные кражи случалось там не впервые.

Старшина крепко взял нас за руки и повел вниз по Греческой. «Боцман» успел мне шепнуть: «Не бойся, он вас отпустит, это — хороший мусор». Милиционер вел нас к «круглому» дому. Спросил меня, как старшего:

— Отец есть?

— Нет, погиб на фронте.

— Мама работает?

— Нет.

Недалеко от перекрестка он нас отпустил, сказав, чтобы мы больше в этом районе не появлялись. Охота выискивать пустые бутылки таким простым способом после этого случая у нас пропала. Необходимо было искать какие-то новые способы добычи куска хлеба».

Но как, и где? Когда еще практически нет житейского опыта и знаний… Следовало приспосабливаться к окружающей среде и думать о том, чтобы нам не было хотя бы хуже, чем остальным. Куда мы могли смотреть, если не в сторону базаров? Может быть, там нас чему-то научат?

Обычными летними маршрутами «на своих двоих» мы посещали пляжи Ланжерон и Отрада. Дорога через парк Шевченко была настолько привычной, что мы ее не замечали. Ложились на тот мусор, который стал называться песком, и загорали.

Несмотря на то, что нас можно было «соплей перешибить», вели себя нахально, и в воде, и на берегу, как будто кроме нас никого нет. Что-то я не поделил с незнакомым парнем, и в запале назвал его пидериком. «Правильно воспитанный» паренек развернулся и нанес мне в подбородок ощутимый удар.

«Я обиделся, и в драку, но ударом мощным в сраку опрокинутый слоном» — очутился на песке.

Кличка «Слон» была очень распространена в центре города. Цитата приведена из «народной одесской басни» того периода. Почти уже взрослые пацаны из компании «воспитанного» спросили сквозь зубы:

— Ты можешь доказать, что наш друг пидор? Скажи спасибо, что ты еще сопливый! За свои слова нужно отвечать!

Никаких чувств благодарности к этим ребятам «за урок» я не испытал, зато стал понимать, что я — не «пуп земли».

На пляжах часто появлялись старушки в окружении внуков или соседских детей, которые обращались к нам, как «братьям по разуму»:

— Мальчики, какая сегодня водичка?

Если мы не успевали обогреться на солнце, то отвечали:

— М-м-мокрая! Со-о-леная!

К вечеру голодные и уставшие, поднимались по пыльной дороге, ведущей в город, нелегкой походкой.

Впереди шла веселая компания, и пела хором:

Нашел тебя я босую, хромую, безволосую,

И целый год в порядок приводил,

Меня ты разлюбила, другого полюбила,

Зачем же ты мне шарики крутила?!

Я тратил миллионы тебе на панталоны,

И тысячи на всякую херню,

Меня ты разлюбила, другого полюбила,

Зачем же ты мне шарики крутила?!

Мы еще не знали, что деньги можно тратить миллионами.

В нашем доме поселилась семья, образовавшаяся после войны. У отца была дочь, наша ровесница, Неля, а у мамы была своя — Люда. По тем временам жили они небедно, но все хорошо не бывает. Неля часто жаловалась дворовым детям, что мачеха относится к ней хуже, чем к родной дочери. Наверное, она помнила отношение к ней погибшей мамы… По вечерам мы собирались вместе с дворовыми детьми, рассказывали детские анекдоты.

Очень красивая дочь парикмахера, Люда была еще и отличницей, как хвасталась соседям ее мама. Она много читала и иногда пересказывала нам содержание «Тысячи и одной ночи».

Как-то, после таких посиделок, когда дети разошлись, мы остались в парадной одни. Люда спросила: «что может быть, если такие, как мы, совершат такое, как в анекдоте — сунь меч Наполеона в пещеру Соломона?» Я ответил, что мы еще достаточно малые, чтобы что-то случилось. На что она высказала мысль: почему бы не попробовать. Я промолчал. Испугался.

Неля с Людой изредка выносили из дома и раздавали нам кусочки шоколада, видимо, с согласия родителей, приучавших детей делать добро. Это воспринималось детьми, как нечто вполне нормальное.

Дочь чекистов Люда Воропаева тоже любила с нами играть. Она была полной, очень добродушной девочкой и дети почему-то окрестили ее моей женой. Она на это обижалась, но не очень. Соседи из их коммунальной квартиры, знавшие наших мам и соседей, сплетничали, что Люда может за один присест съесть полкило колбасы. Это казалось невероятным потому, что таких кусков колбасы мы никогда не видели.

## Фу, дурак!

Постепенно Одесса становилась шумной и опять веселой. «Всегда танцует и поет веселый тот народ…» По городу стали ходить хорошо одетые «фраера», плохо одетые работяги, школьники и сумасшедшие, которых было много, и одесситы их знали. К ним относились хорошо, и даже малые дети к ним не цеплялись. Среди них был и знаменитый тогда «Шая с балалайкой». Его кто-то обучал песням, за которые любой нормальный человек недолго бы пел на свободе:

Гоп, мои гречаники,

Жиды — наши начальники,

А Иваны — на войне,

А румыны — в стороне…

Подобные песни он пел под собственный аккомпанемент на балалайке с 1944 года. Позже Шая был частым гостем в винных забегаловках, куда его приучили заходить ценители его самобытного таланта, они же наливали ему дешевого вина.

Шая имел еще одно достоинство, кроме умения петь. Если в винарку заходила женщина, он быстро становился крайним в очередь. Когда подходил его черед, то через клапан морских брюк он вынимал свое достоинство и предъявлял его стоявшей позади посетительнице. Обычно, она говорила:

— Фу, дурак!

— Дурак, не дурак, а сегодня третий стакан пью! — гордо парировал Шая.

Посетителям такое представление нравилось, они с удовольствием оплачивали еще один стакан вина.

Там же, в забегаловках, можно было встретить «Пушкина», читающего стихи. Он носил седоватые бакенбарды. Когда не был пьян, молчал. Трудно было сказать, умывался ли он вообще, но свои бакенбарды содержал почти в порядке. При достижении «порога трезвости», «Пушкин» начинал декламировать стихи, сперва негромко, затем переходил на громкий бас, и читал до тех пор, пока не надоедал продавщице. Тогда она делала ему громогласное внушение, и он был вынужден углубляться в стакан, поднесенный ему любителями поэзии. Говорили, что «Пушкин» до войны работал в какой-то одесской газете…

## Наши запросы

На швейной фабрике «Молодая Гвардия» работал биндюжник Ютка, очень любивший свою лошадь и дворовую собаку Альму. Хорошо он относился и к нам. Добрые отношения у нас были и с тачечником Моисеем, но с ним наши дороги разошлись.

Дело было так: поднимались мы как-то с Ленькой по Польскому спуску (Канаве). Смотрим — тянет с трудом Моисей свою телегу. Стали ему помогать. Сперва даже бескорыстно. Обнаружили, что он везет ящики с водкой, и не устояли от соблазна. Схватили по бутылке и побежали вниз. Тачечник почувствовал, что его транспортное средство резко потяжелело, поставил его и без труда нас догнал. Моисей отобрал у нас «приработок» и после этого мы потеряли его доверие.

Ленька рано начал курить, и мама, уходя на работу, стала запирать его на ключ. Ленька залазил на подоконник и кричал нам, чтобы привязали ему папиросы к спускаемой им нитке. Тоненькое папиросы «Огонек» или «Труд» («туберкулезные палочки») стоили восемьдесят копеек в ценах 1947 года. Такую услугу мы ему оказывали, и он пыхтел на подоконнике с «веселой песней на губе»:

Люблю я труд, но только папиросы

Люблю я спорт, но только шоколад…

Тетя Дозя, услыхав родной голос и его позывные, бегом взобралась на четвертый этаж, открыла дверь в комнату, а Ленька проскочил мимо нее в коридор, затем на кухню, и по черному ходу через минуту оказался на улице. Его мама, запыхавшись после бега, медленно спускалась по лестнице в надежде поймать его, но это желание явно не соответствовало ее реальным возможностям.

Ленька вывернулся, отбежал метров двадцать, показал поларшина — «во поймаешь!». Тетя Дозя такого оборота событий не ожидала. Позеленев от злости, закричала, что было силы: «Это Витька научил тебя ругаться, …б твою мать!»

Кроме Витьки явно было некому…

Незадолго до того Витька отобрал у Леньки бутылочки из-под одеколона. Они были никому не нужны, но Ленька пожаловался маме. Тетя Дозя пошла проводить следствие к маме Вити. Леня позвал меня посмотреть, как будет торжествовать справедливость.

Впереди шла тетя Дозя, сзади — Ленька и я. Мы поднялись по винтовой лестнице на третий этаж. Тетя Ира, Витина мама, выглянула на стук в окно, открыла дверь, впустила Ленькину маму, а мы остались ожидать торжества справедливости возле дверей.

Когда Витина мама узнала, из-за чего к ней явилась тетя Дозя, она рассвирепела, с силой вытолкнула Ленькину маму на лестницу, и той пришлось бежать вниз, перепрыгивая через несколько ступенек, чтобы не упасть. Мы едва успевали за ней.

Сзади, опережая нас, со свистом летели злосчастные бутылочки, разбиваясь о стены и ступени… Все мы очень скоро оказались внизу, в подъезде дома № 23. Леня с мамой уже ничего не хотели.

Пришел я домой. Возможно, в тот день были вспышки на Солнце. Сестра была не в настроении и усадила меня за стол делать уроки. Комнату заперла и ушла. Наверное, от умственного напряжения, захотелось мне по серьезным делам в туалет. Заглянул под кровать — горшка нет. В таком состоянии долго думать я не мог. Нашел несколько газет, с помощью которых справил нужду, в эти же газеты упаковал продукты жизнедеятельности. Запах мешал сосредоточиться на уроках.

Выглянул в окно. На улице гуляли два Толика — наш, соседский, и брат Вити. Я крикнул — «Толик, держи!» и сбросил свое изделие в окно. Как назло, под окном проходила нарядная дама в шляпке с пером, и кулек, зацепив его, упал ей прямо под ноги. Все могло обойтись, но в этот момент оба Толика с криком «это мое!» разорвали «подарок», испачкав даме туфли. Она взвилась, и стала так кричать на всю улицу, как не кричат, наверное, и при родах. Я спрятался, а что оставалось делать? Дама долго не могла успокоиться и с шумом поднималась по парадной лестнице к нам «в гости». С криком стала стучать в двери квартиры.

Соседи открыли. Дама не молчала и секунды, подошла к нашей двери и стала так стучать, что старинные двери могли не выдержать, но выдержали… Она требовала, чтобы я открыл.

Открыть двери я не мог, ключа не было, впрочем, мне и не очень-то хотелось эту даму видеть. Чтобы еще больше не рассердить женщину с пером на шляпе, пришлось затихнуть, и не спрашивать «кто стучится в дверь моя?». Женщина пошумела еще какое-то время и ушла.

Дом № 23 привлекал нас с Леней не только потому, что там обитал наш друг Витя. Там проживали еще Валера и Игорь, с которыми мы играли в карты и шахматы. При входе во двор, справа, находилась парадная, где мы проводили турниры.

На подоконнике выходившего туда же окна столовой остужались пирожки, которыми торговали по коммерческим ценам с улицы. Окно было защищено сеткой, которую мы снизу повредили. Незаметно для работников столовой проводилась конфискация двух-трех пирожков после их загрузки. Но щекотали наши ноздри не только пирожки.

На первом этаже, рядом с подоконником, на котором проводились турниры, проживала семья Тайчера, рубщика мяса с Привоза. Его жена приспособилась готовить еду на примусе рядом с входной дверью своей квартиры. В непосредственной близости от нас она закидывала куски мяса в кастрюлю, даже не закрывая ее крышкой. Не знала, наверное, что «голь на выдумки хитра».

Впрочем, сама идея похищения полусырого мяса из кастрюли семьи мясника Тайчера принадлежала не нам, а беспризорному коту с большой умной головой. Он на наших глазах запрыгнул на кухонный столик и, став на задние лапы, когтем одной из передних подцепил солидный кусок, с которым скрылся в подвале.

Увидев это, Игорь принес из дому рыболовные снасти, при помощи которых со второго этажа легко можно было попасть в кастрюлю грузилом с крючками. Дождались, когда хозяйка ушла в комнату и тихо опустили снасть. Мясо поймалось сразу, и леска плавно понесла кусок вверх. Внезапно вышла хозяйка и увидела всю эту картину.

— Миша, Миша, нас грабят хулиганы! — она попробовала прыгнуть за мясом, но не достала.

Раньше, чем мясник успел среагировать, наша компания уже сбежала по винтовой лестнице, не выпуская лески из рук. Мясо прыгало по ступенькам, шлепаясь о них с приятным звуком. Потом оно катилось по подъезду и по улице через дорогу. Во дворе дома № 26, где жил Толик Тит мы отмыли мясо и сгрызли его, чтобы не пропало…

## Вокзал

Железнодорожный вокзал представлял собой большую площадку, огороженную невысокими металлическими решетками с проходами к перронам. У входа оставалась полуразрушенная лестница в несколько ступенек, справа от которой стояло какое-то подобие вокзальной пристройки с кассой, продающей билеты. Подъездных путей было три или четыре.

Поезда прибывали и отправлялись редко. Паровозы, доставлявшие пассажирские составы выглядели чумазыми, такими же были кочегары и машинисты. Вокруг состава густо летали хлопья сажи и все поезда, высадив пассажиров, отправлялись на мойку.

Однажды мы с Ленькой решили покататься на поезде. Уселись на ступеньки пассажирского вагона (двери были закрыты).

Поезд тронулся, мимо нас проплыли Куликово поле, затем дома. Мы увлеклись движением и не заметили, как паровоз, таща за собой вагоны, въехал в мойку. Вагоны терлись какими-то катками с намотанными на них грязными тряпками, из-под них била струями вода. Тряпки крепились к металлическим стержням, которые нас здорово исцарапали.

Когда мы, наконец, спрыгнули со ступеньки, вид у нас был тот еще, не лучше самых грязных оборванцев, каких можно было видеть тогда на Привозе. Спасло, как всех одесситов, море. И мы пошли в сторону пляжа, к которому привыкли — на Ланжерон. Кое-как отстирали свои трусы и майки, как могли, отмыли себя. Промыли поцарапанные животы (головы мы все же успели при прохождении мойки отвернуть), и стали принимать лечебные солнечные ванны.

Теперешний вокзал был построен в начале пятидесятых. Его возводили наши рабочие, немецкие пленные, студенты училищ и строительного института. Принимала участие в его сооружении и моя сестра, которая тогда училась в ОИСИ. Когда же вокзал, наконец, построили и он начал функционировать, на него приезжали посмотреть одесситы со всех районов города. Это было-таки большое событие.

## Судьбы лейтенантов

Вернулись с фронта и поселились в нашем доме в квартире, вход в которую был через парадную дверь с Ришельевской, два молодых лейтенанта. Были они на войне, видимо недолго. Возможно, окончили военное училище перед самой Победой и когда попали на фронт, то им не почти пришлось участвовать в боях. Повезло.

Приехали они с войны на немецких трофейных мощных мотоциклах с колясками, в которых часто катали своих молодых жен. Ребята любили охоту и женщины повсюду ездили с ними. Иногда лейтенанты, когда их жены заносили охотничьи трофеи в дом, сажали нас в коляски, на задние сиденья и катали вокруг дома. Они шутили с нами и вели себя, как чуть более старшие друзья-товарищи.

Не знаю, были ли они одесситами, но по их поведению, можно было судить, что да. Они были очень добродушными, пребывая в том возрасте, когда люди всему верят и всем доверяют.

Однажды эти семьи поехали на охоту. По дороге их остановили двое мужчин и попросили подбросить к селу. Лейтенанты посадили их на задние сиденья и поехали. Тут одна из жен увидела, как у друга вынимает из кобуры пистолет один из «пассажиров». Она подняла крик, кинулась на второго, сидевшего сзади мужа. Завязалась драка, но тот, который успел украсть оружие, выстрелил. Чем все окончилось, и поймали ли бандитов, мне узнать не довелось. Одного из лейтенантов торжественно хоронили с воинскими почестями.

Из разговоров соседей я понял, что перед смертью он просил свою жену отдать его мотоцикл другу. Другого имущества у него не было.

## Торговый люд

Привоз начинался с грязных рыбных корпусов, задняя часть которых выходила на улицу Эстонскую. Возле входных дверей в рыбные корпуса стояли рыбаки и перекупщики с вязками бычков, скумбрии, тарани. Внутри располагались стеллажные весы, на которых развешивали тюльку, камбалу, бычков и речную рыбу постоянные продавцы.

Каждый корпус имел два-три выхода на Привозную улицу, начинавшуюся с Ришельевской и упиравшуюся в металлические ворота Привоза. Остальная часть этой улицы сохранилась после постройки нового универмага — справа от Привоза, хотя и она претерпела изменения.

Продавцы пропахли рыбой, как и сами корпуса, которые, казалось, никто и никогда не сможет отмыть. На отдельных лотках лежали «деликатесы» — дунайская селедка и раки. Они не были очень уж дорогими, но наши родители не могли позволить себе их покупать. Толчеи не было, покупатели могли спокойно торговаться с продавцами.

На противоположной стороне Привозной и за углом, со стороны Ришельевской толпились «шахтеры» — перекупщики облигаций госзаймов, часов, золотых и серебряных изделий. Прозвище свое они оправдывали способностью что угодно достать хоть из-под земли. Между собой и с блатными (продающими краденное) они разговаривали только на одесском жаргоне и матом:

— Ты что притарабанил?

— Рыжьё, котел.

— Покажь…

Блатной показывает золотые кольца, часы. «Шахтер» вынимает лупу, рассматривает пробу, вскрывает заднюю крышку часов, называет цену. «Продавец» взрывается:

— Ты что, охуел? Пойдем «на люди»!

— Ты строишь из себя блатного? У тебя что, два пальца в жопу влазят?

Вмешиваются близстоящие «шахтеры» и успокаивают повздоривших. Один из них предлагает:

— Так, дай ему еще полштуки и по рукам.

Воришка «менжуется». Пришлось накинуть еще пару «соцок». Разошлись.

Возле ворот главного входа на Привоз со стороны Екатерининской с утра и допоздна подпрыгивал продавец бумажных разноцветных абажуров. У него одна нога была значительно короче другой, но он лихо подскакивал с большой охапкой своего товара. Продавец без устали шнырял между людьми, спешившими на базар и с базара, неустанно выкрикивая: «абжурчики, кому абжурчики!» За его товаром очереди не выстраивались, но он долго не менял свой бизнес на другой.

За воротами начинался рынок, где продавцами были крестьяне близлежащих сельских районов города вплоть до Люстдорфа. Здесь же несуны с порта, кондитерской фабрики и других предприятий продавали американскую тушенку, шоколад, конфеты, галеты. Этот товар не раскладывался на земле, его носили в торбах. Покупатели знали несунов в лицо.

Черный хлеб носили завернутым в газету, цена на него не менялась, о ней можно было не разговаривать. Он был таким же, какой мы получали по карточкам — мокрым, выпеченным из желтой кукурузной муки. Если его сжать, то он не выпрямлялся.

Повсеместно крутились цыгане с детьми. Они ничем не торговали кроме дрожжей, ванилина, камушков для зажигалок и краски для пасхальных яиц, но видимо, им этого хватало. Цыгане еще не оправились от войны, их не преследовали.

На самодельных стеллажах и скамейках располагались «лица кавказской национальности», они торговали продукцией своего региона.

Утром с вокзала биндюжники тачками доставляли колхозников из более отдаленных сел. Крупные колхозы завозили товар на лошадях и полуторках ЗИС-5 и сгружали продукты на склады «Фруктового пассажа». Там наш биндюжник Ютка получал продукты для столовой швейной фабрики.

Неимущие старушки и старики ходили по всему Привозу в надежде найти на земле откатившуюся картофелину, морковину или какую-нибудь фруктовину. Привоз был кормильцем многих обездоленных…

По периметру базар стал обрастать деревянными будками-магазинами, в которых продавался хозяйственный инвентарь для сельских жителей. В них же располагались мастерские по ремонту примусов, замков, изготовлялись жестяные водосточные трубы. «Держали» эти мастерские и магазинчики предприимчивые люди, связанные с дирекцией Привоза и милицией. Им приходилось, разумеется, поддерживать отношения и с уголовниками.

Внутри Привоза группировались шарамыжники, барыги, приблатованные и блатные, среди которых водилось немало стукачей. Последние информировали органы о поставщиках ворованного товара с американских судов, продовольственных складов, пищевых предприятий или из порта.

Стукачи рисковали жизнью постоянно. В случае, если их вычисляли, жить им оставалось очень недолго, а для милиции они больше не представляли интереса — отработанный материал. Стукачами добровольно не становились, в основном это были те, кого ставили перед выбором: стучать или получить срок.

Привоз всегда был очень сложным живым организмом, в котором находилось место всем, включая мелких воришек и дельцов всех рангов. О санитарном состоянии базара мало кто беспокоился, но никакой холеры в городе не возникало. Следует отдать должное дирекции, которая заставляла своих работников изредка производить уборку территории и промывать из шланга рыбные корпуса.

Вино продавалось литровыми банками прямо из ведер или больших бутылей, причем давали пробовать малыми немытыми стаканами. Можно было «напробоваться».

Привоз, в отличие от других продовольственных базаров, был более живым, он все дни работал с полной нагрузкой.

Новый рынок тоже был открытым всю неделю, но продавцов и покупателей туда ходило несравнимо меньше: цены «кусались».

Алексеевский базар был небольшим, и его редко посещали даже жители Молдаванки.

Слободской и Казанский базары работали так же вяло.

Староконный рынок практически не был продовольственным, продуктами там торговали редко. Зато он оживлялся по воскресеньям, когда там собирались любители декоративных пород рыбок, попугаев, голубей, кошек, собак. Отдельно рядами подстилок из газет на земле располагались продавцы швейных машинок, слесарных инструментов, всевозможных замков, водопроводных труб и любых токарных деталей — всего того, что можно было «приобрести» на предприятиях Молдаванки «без ущерба для производства».

С Привозом мог соперничать по ценам на мясную продукцию только базар на Ярмарочной площади, что объяснялось непосредственной близостью мясокомбината. Но купить мясо там можно было не всем и не всегда. Милиция постоянно отлавливала перекупщиц этого продукта и тем приучила их к осторожности. Милиционеров, хоть и переодетых, там знали в лицо и при их приближении «срабатывала сигнализация» — продавцы исчезали мгновенно.

Одесситы предпочитали покупать продовольствие на Привозе не только потому, что там было дешевле. Там продукты всегда были свежими и быстро раскупались. При отсутствии холодильников это имело решающее значение.

На всех базарах кроме основных работников (рубщиков мяса, продавцов, тачечников, носильщиков, сборщиков налогов, кассиров, представителей санэпидстанции) всегда находились различные вымогатели, ханури, нищие и попрошайки. Крестьяне, в конечном счете, всех их содержали и даже не задумывались над этим. «Один с сошкой, семеро с ложкой». Мало что изменилось и теперь.

В Черном море тогда скумбрии было много. Ее продавали на Привозе и ловили ее все, кто имел свои лодки. Она была значительно вкуснее океанской и теперь невозможно никому объяснить, до чего она была вкусной. Это все равно, как объяснять, какая вкусная гусиная лапка:

— А ты едал?

— Нет, мой брат видал, как барин едал, и мне рассказал.

Эту поговорку я слышал от папы.

## Толчок

Во время оккупации мама прятала в нашем сарае довоенный приемник прямого усиления «СИ-235». Видимо, оттого, что он долго лежал в сарае, он отсырел и стал барахлить. Несколько позже я в него залез, пытаясь починить, и окончательно испортил. Мы с Толиком Титом стали носить «запчасти» на Толчок и, в общем, продали детали дороже, чем стоил приемник в исправном состоянии. Часть денег я отдал маме, остальное мы поделили между собой.

Толик собирал почтовые марки и однажды пошел их покупать. Марки стоили копейки и проблем с их приобретением на Толчке не было. Как я потратил первые заработанные деньги не помню.

Толику было примерно 9 лет, мне около семи, но мы быстро определили стоимость выкушенных деталей, ламп, трансформатора, динамика, конденсаторов. Все это оказалось дефицитным тогда товаром и разошлось быстро.

Так мы поняли, что Толчок существует не зря. Толик Тит заимел знакомство в какой-то радиомастерской, и ему «задешево» отдавали замененные после ремонта радиоприемников силовые трансформаторы и все, что для них не представляло интереса. Какое-то время мы торговали этим хламом.

На «толчке» никогда не продавали новых радиодеталей, их не было, а старые — они и есть старые, претензий не было.

Материальное положение наших мам, было таким, как говорили в Одессе — врагу не пожелаешь. И когда нам удавалось заработать хоть какие копейки, то и это была реальная помощь.

Толчок находился не улице Средней, затем он был перенесен и размещался недалеко от 2-го Еврейского кладбища.

К рынку можно было добраться пешком с любого конца города. Даже если и удавалось в большой толчее доехать на трамвае № 15 до ул. Косвенной, то разница с перемещением на своих двоих во времени ощущалась незначительно. Кроме того, трамваи ходили нечасто. По воскресеньям это был самый оживленный из всех базаров. Там можно было купить все, что когда-либо выпускалось нашей, и не только нашей промышленностью.

Продавцы раскладывали на земле, предварительно расстелив газету, серебряные царские или советские, 1924 года выпуска, рубли и полтинники, почтовые марки, гашеные и негашеные, видимо, имевшие вполне реальную ценность, но продавалось всё это за копейки. Было просто непонятно, как все это сохранилось в период оккупации, да еще в таких количествах.

Там же, на земле, лежали предметы старины: подсвечники, иконы, а рядом продавались швейные машинки и запчасти к ним. Слева от входа размещались продавцы патефонов, грампластинок, радиодеталей, трофейных и довоенных радиоприемников и радиол. В центре «толчка» на руках носили верхнюю одежду, обувь, новое белье. Вдоль заборов стояли продавцы велосипедов и запчастей к ним. Чаше всего ценой была в прямом смысле стоимость куска хлеба.

Отдельной группой стояли продавцы запрещенных тогда пластинок Петра Лещенко и блатных записей вроде «Гоп са Смыком». Однажды я купил пластинку, перепрессованную из речи Сталина на каком-то партсъезде. На ней была записана пара песен Лещенко.

Можно было купить никому не нужные пластинки с речами вождей, или пластинки с наклейками «Columbia», гласящими о том, что на них записана хорошая музыка, но с теми же речами вождей.

Несколько позже появились в больших количествах музыкальные записи из модных тогда кинофильмов, блатные песни — на рентгеновских пленках (на «костях» или «ребрах»). Покупатели, «особенно понравившиеся» продавцам, могли получить вместо облюбованной ими пластинки долгое шипение, за которым следовал краткая речь: «вы хотите музыку — хер вам, а не музыка!». Качество записи «на костях» было крайне низким, срок службы такой пластинки был недолог.

Однажды, после удачной продажи какого-то хлама мы с Толиком Титом ходили по рядам Толчка и искали редкие почтовые марки. Я обратил внимание на красивую, но изрядно поцарапанную грампластинку дореволюционного одесского производства. Продавала ее старенькая одесситка очень дешево, и я рискнул купить «одесское чудо», как охарактеризовала пластинку старушка.

Пожилые одесситы рассказывали, что до революции в Одессе был еврейский театр, он располагался на Греческой, чуть ближе к Преображенской относительно Русского театра. Возможно, кто-то из артистов под псевдонимом Бим-Бом (так значился исполнитель) пользовался особой популярностью слушателей и сделал эту запись.

Мою пластинку мы принесли домой к Толику, чтобы прослушать. Она оказалось очень заигранной, но разобрать слова и мелодию было можно. Раньше я хорошо помнил обе песни, а сейчас отчасти забыл протяжный романс, но зато вспомнил разухабистую песню в темпе фокстрота и веселые слова незатейливой мелодии шансонье. Музыка запоминалась лучше слов. Романс начинался грустно, так же печально и заканчивался:

Ты хочешь знать, зачем тепер

Я не тебе смотру как звер,

А ты с мной играла, как с мальчишкой.

Я думал, что найду любов, а ты попила мине кров

И вымотала мне все ки-и-и-шки

………………………

Не жалко мне любви твоей,

Но жалко двадцать пьять рублей

Что на тебя, дурак, потра-а-тил я!

……………………

Как зилец я сохнул каждый день,

Я стал похож совсем как тень

Когда-нибудь подохнем все мы.

Тогда прощенья не проси,

Но на могилку принеси

Мене кусочек хризантемы.

Другая сторона пластинки была более «запилена», но запомнилась лучше:

Как-то раз, гуляя на бульваре

Я подошел к знакомой даме Кларе.

Месяц только спрятался за тучку,

Нежно взял я Кларочку под ручь-ку,

Но, узнав о том, что дома мужа нет (тын дыр лим)

Захотел побыть я с Кларой тет-а-тет (тын дыр лим)

Слушал Клару — нежное созданье,

Вспомнил, как сидел я на дивани-и.

А потом мы с Кларой дома пели,

Рыбу и компот уже поели.

Выпил румку водки и наливки,

Стал смотреть на Клару, как на сливки.

Но в «конверт» случайно бросил взгляд один (тын дыр лим),

Там увидел ваты целый магазин (тын дыр лим)!

Слушал Клару — «ватное созданье»,

Как дурак сидел я на дивани-и

Оставаться с нею было очень неприятно,

И домой скорее я хотел бежать, понятно.

Кларочка в огне — подойшла ко мне,

Тут уж я, конечно, растерался,

Плюнул, но все-ж таки остался.

А потом я с Кларой угостился,

Вдруг, представьте, муж ее явился.

Взял скорей свое пальто и платье,

Мигом очутился под кроватью.

Но забыл припрятать пару старых брюк (тын дыр лим),

Их случайно вдруг увидел злой супруг (тын дыр лим)

Как цыпленок я дрожал от стра-а-ха,

Вдруг меня он тянет за рубаха!

Ой, не повезло в тот вечер мне суровый…

Муж еще назло — как извозчик был здоровый,

Ой, какой скандал — я скорей удрал,

Но супругу брук оставил пару,

С той поры я проклинаю Клару!

Никогда не сомневался, что придумал и исполнил эти песни одессит-еврей. В дореволюционной России вряд ли были люди, знавшие еврейский характер и «одесский язык», лучше, чем сами евреи. В тексте не было еще нарочито искаженных шипящих звуков или блатных выражений. «Одесский язык» очень быстро развивался в «калидорах» коммуналок после революции. Теперь мы имеем, что имеем…

Толчея на базаре вполне соответствовала его названию, кроме того, ее часто создавали искусственно организованные карманники, которые знали свое дело досконально.

В тесноте часто звучали крики обворованных о помощи, на которые никто не реагировал. Если даже и удавалось кому-нибудь поймать за руку вора, то украденного у него уже не было.

Милиционеров для такого базара не хватало, карманников ловить было некому. Милиции в то время хватало забот и помимо карманных краж.

Продавцы были должны покупать в кассах, расположенных у входа, талоны, дававшие право на торговлю. Без поклажи пускали бесплатно. Возле входа стояли крикливые контролеры с красными повязками.

На подходе к Толчку группировались нищие и цыгане, которых было столько, что не верилось, что они могут что-либо получить от проходивших посетителей рынка.

Среди продающих выделялись люди, хотевшие реализовать последнее, на что еще можно было надеяться найти покупателя. Выглядели они бедолагами.

Предприимчивые коммерсанты, для которых Толчок был кормильцем, выглядели по-другому. Одеты они были, как правило, в «сталинки» (кителя с отложным воротом), тогда служившие униформой партийных бонз не только в нашей стране, но и в Китае. Это были подвижные люди средних лет, быстро ориентировавшиеся в стоимости предлагаемого им товара. Его происхождением они не интересовались.

Недалеко от коммерсантов крутились «свои люди», типичные представители старой Одессы. Они направляли продавцов ворованного товара к скупщикам и с этого имели свою долю.

Не только на Толчке можно было видеть «типичных» одесситов в конце сороковых. Их было много, и они выделялись в толпе. Бросалась в глаза их вертлявость и то, что они никогда не смотрели в глаза собеседнику. И вообще, их глаза всегда двигались, ни на чем не останавливаясь.

В поведении этих «жучков» ощущалась фальшь и какая-то неестественность, что настораживало при любом контакте с ними. Но приезжие часто принимали их за истинных одесситов и легко попадались на удочку.

«Типичные одесситы» старались нравиться собеседникам, но после общения с ними оставался неприятный осадок, ощущение какой-то припрятанной хитрости и жестокости. В основном, это были отсидевшие долгие сроки блатные, которых после войны, видимо, отпустили по амнистии в больших количествах, освобождая места для политических, фронтовиков, вроде подводника Маринеско, и вообще неудобных.

Расселялись блатные в основном на Молдаванке, Слободке и Пересыпи. По этой причине эти районы всегда враждовали. Разборки среди молодежи происходили постоянно, часто они перекатывались в центр и даже на Дерибасовскую. Поножовщина при этом была обычным явлением, драки часто заканчивались фатально.

Мне пришлось в раннем детстве видеть такого блатного. Вошел я в трамвай, едущий в сторону Привоза. Кондукторы на таких пассажиров, как я, не обращали внимания. По нашему виду можно было безошибочно определить, что в кармане — вошь на аркане. Встал я возле входа и о чем-то задумался.

Около меня стоял пацан примерно моих лет и взрослый, «типичный одессит». На следующей остановке этот дядька со смехом вернул мне содержимое моих карманов: рогатку, ключи от квартиры, какой-то значок. При этом он поощрительно похлопал по плечу своего ученика-карманника, а мне сказал, что нужно следить за своими карманами. Впрочем, совет был дельным, с тех пор я всегда в толпе обращаю внимание на окружающих меня людей.

Воров и воришек в нашем городе было не счесть, и все они работали с выдумкой. К примеру, на пляже, рядом с прилично одетыми приезжими, распознать которых было нетрудно, располагалась веселая компания одесситов. Они азартно играли в карты, смеялись, при этом один из участников компании в песок постепенно вводил проволоку-крючок. Когда приезжие шли купаться, оставив кого-то из своих сторожить вещи, крючок цеплялся за брюки или пиджак кого-нибудь из «курортников». Кто-то из одесской компании отвлекал «сторожа» и брюки (пиджак) исчезали мгновенно. Если кто и видел движение одежды, то молчал. Умный не скажет, дурак не поймет.

Один из компании уходил с украденными вещами, остальные продолжали играть, постепенно смещаясь от приезжих. Свободных мест на пляже было мало, образующийся промежуток быстро заполнялся вновь прибывшими. Гости города, обнаружив пропажу, могли только сокрушаться и умнеть. Одежда в то время была достаточно дорогой, а если в карманах были еще и деньги, то доход компании оказывался вполне весомым.

Расчетливые мошенники и жулики часто планируют свои действия заранее, иногда на всякий случай втираясь в доверие к тем, кого они считают потенциальными «клиентами».

Они не всегда выглядят приблатованными с бегающими глазами.

Их методы не очень сложны, но эффективны. При знакомстве с третьим лицом «отирающийся», представляя человека, громким шепотом рассказывает ему о его достоинствах, например, «это очень порядочный парень». Если «случайно» услышавший принимает услышанную лесть за истинное мнение, то можно сказать, начало положено. При личном контакте такие люди подчеркивают ум собеседника. При этом, обычно, плавно подводят его к принятию «правильного решения», оставаясь в стороне.

Такие люди считают себя очень умными и хитрыми. После предварительной обработки «клиента» они ведут себя с ним крайне дружелюбно, и терпеливо ждут, пока «плод созреет». Если «клиента» что-то насторожило в поведении такого «веселого парня», то лучше всего «недопонять» его, и он обязательно пояснит свои притязания более простыми словами.

В нашем городе люди с детства привыкают к намекам и полунамекам. Такими способами общения пренебрегать не следует, как и злоупотреблять ими.

Привоз не отставал по сообразительности своих жуликов от Толчка и центра города. И там не лишены фантазии были грабители, которые после длительных исследований приводили в действие свои планы.

Цены на фрукты — гранаты, апельсины, мандарины — на Привозе были очень высокими. Привозившие их жители кавказских республик держали при себе большие пачки денег. Наши квалифицированные воровские шайки, в состав которых входили красивые женщины, нашли способ подобраться к ним.

Возле лотка, где торговали грузины, появлялась женщина в очень короткой юбке и без нижнего белья. Она нагибалась, якобы в поисках упавшей брошки. Торговцы южной наружности, выпучив глаза, смотрели «представление». В это время «специалисты», зайдя сзади, выполняли свою работу. Обнаружив пропажу, кавказцы кидались разыскивать «артистку», которой уже, как правило, и след простыл. Впрочем, если бы ее и поймали, то при ней все равно ничего, кроме дешевенькой брошки, быть не могло.

Преступность в Одессе существовала всегда, с момента основания города. Во время войны оккупанты путали партизан с бандитами, а наши — бандитов с партизанами.

После освобождения Одессы бандиты остались бандитами и путать их стало не с кем. Слухи о перестрелках и убийствах не были безосновательными, но постоянные аресты невиновных еще больше подогревали миф о том, что наш город — криминальный центр Советского Союза. Навязывалась мысль о том, что «органы» не ошибаются. Кто в это не верил тоже подлежал отправке в дальние края, восстанавливать мощь страны Советов.

Кроме откровенных воров и бандитов, в городе всегда существовали, и неплохо, интеллектуалы, чтившие уголовный кодекс, почему их и трудно было в чем-либо обвинить.

Позже, в пятидесятые, было проведено на высоком уровне уголовного мастерства ограбление ювелирного отдела универмага «Пассаж», располагавшийся левее главного входа.

На Дерибасовской поздним вечером прохожих было немного. Напротив «Уточкино», ближе к кинотеатру Маяковского, была организована драка, и туда устремилась вся милиция. Пока ее разнимали, через второй этаж в круглое окно ювелирного отдела проникли грабители и спокойно очистили все витрины и сейфы. Те, кто затеял драку, вовремя исчезли, а пострадавшие прохожие еще долго выясняли между собой отношения.

Коммунальное хозяйство

Одесские дворники и дворничихи (в Одессе — дворнички) в свое время, до революции, подбирались хозяевами домов. Им выделялась обычно небольшая самостоятельная квартира на первом этаже, за которую они ничего не платили. В их обязанности входило содержание в чистоте двора, подъезда, прилегающей к дому территории и мостовой.

Кроме того, на ночь они закрывали ворота и парадные двери на замки и открывали их запоздавшим жильцам (за небольшую плату). Дворники не являлись ответственными квартиросъемщиками и в случае увольнения должны были освободить квартиру.

В нашем доме, как и в большинстве одесских дворов, работала династия дворников. И до революции, и после они обязаны были контактировать с квартальными, участковыми, представителями румынской сигуранцы, немецкой администрацией, затем снова с нашими участковыми.

Ни одна власть их не меняла на своих приспешников, а дворники, в свою очередь были лояльны к любой власти. Им не хотелось менять свою работу на другую и терять дармовую жилплощадь. Обычно их семьи занимались своим делом и не вникали в политику. Однако они спинным мозгом ощущали опасных для себя жильцов дома и не докладывали о них властям.

Когда такие люди попадались и соответствующие органы требовали сведений, дворники говорили все, что знали о них и их знакомых. Это были бесплатные вынужденные агенты полиции, милиции, сигуранцы, НКВД, МГБ, КГБ.

Я никогда не слышал, чтобы где-нибудь посадили дворника за сотрудничество с царской охранкой или какой-либо другой властью, а они в Одессе менялись часто в послереволюционный период. Не трогали их и за сотрудничество с оккупантами.

Наши дворники доживали спокойно до глубокой старости, 58-я им не угрожала. Они и члены их семей были вечными понятыми и своего мнения по политическим вопросам не высказывали, а возможно и не имели.

Своему промыслу дворники обучали своих детей и внуков сызмальства. Внучка нашей дворничихи Люся была остра на язык, держалась обособлено и с нами не дружила. Дворники часто шумно измывались над слабыми жильцами, иногда пробовали издевательски относиться и к нам, детям. Это нами не прощалось. При удобном случае мы мстили.

После освобождения города управдом Шелесть переселила семью нашей дворничихи жить в пристройку костела, потом в темную угловую комнату возле дворового туалета в соседний двор № 21. Защитить свои права работница коммунхоза не могла, возможно, грехи не позволяли. Дворниками желали работать многие бездомные люди — тогда их было немало.

Старенькие дворники

Подметают дворики…

А обвинять их в том, что они не становились героями… Хотя были и такие, кто прятал и подкармливал, как мог, евреев, живших всю оккупацию в катакомбах. И рисковали. Так было во дворе на Успенской, № 64. Думаю, что некоторые дворники имели связь с партизанами, и такие точно рисковали своей жизнью больше, чем не побывавшие в оккупации. Однако и в этом случае они старались не привлекать внимания, не претендовали на награды и почести.

Зато место управдома считалось престижным и денежным. Квартирные махинации эти должностные лица проделывали в открытую потому что имели возможность ублажать власть имущих. Убыточной эта должность не была никогда.

В комнате, где до войны проживали Талалаевские, а потом немецкий офицер, поселился милиционер с женой и ребенком. Это была веселая семья, любившая общаться с соседями. Жена милиционера любила зайти к маме поболтать.

Однажды она при мне по большому секрету рассказала о том, что в Америке есть такие магазины, в которых человек может купить всю одежду и любые продукты питания. С таким чудом мы могли сравнить только Толчок, да и то при его совмещении с Привозом, но и тогда наш воображаемый магазин, видимо, несколько уступал бы американским супермаркетам по качеству обслуживания и ассортименту.

Откуда она получила такую информацию — неизвестно. Возможно, кто-то из ее знакомых слушал «Голос Америки», что не поощрялось нашими «органами», а потому такое можно было говорить только шепотом и в надежде, что собеседник не «заложит».

Потом наша коммунальная квартира стала заселяться приезжающими из эвакуации семьями, жившими в ней до войны. Тетя Дозя с Ленькой перебрались в свою прежнюю комнату на четвертый этаж нашей парадной, в квартиру 4.

Прибыла и тетя Маня Талалаевская, которой долго пришлось проживать с сыновьями — младшим Геной и старшим Милей — в общей кухне: ее комнаты были заняты семьей милиционера.

Мамина подруга Хая Рувимовна Талалаевская не любила, когда ее называли по имени-отчеству. Ей нравилось, когда ее называли Маней, а мы с сестрой привыкли называть ее тетей Маней.

После эвакуации из Одессы она устроилась работать где-то под Ташкентом поваром в рабочей столовой. Получила разряд, но готовить научилась только стандартные блюда для большого количества едоков. После голодовки 1944–1947 годов тетя Маня иногда приглашала маму и нас с сестрой в гости, а когда наше материальное состояние улучшилось, мама приглашала Талалаевскую с ее вторым мужем, дядей Семой, в гости к нам.

Тетя Маня ставила в центр стола рыбу-фиш, которая оказывалась всегда суховатой и довольно жесткой. Зато салаты и колбаса, нарезанная ломтиками, были очень вкусными.

Когда мне приходилось бывать по приглашению моих друзей в других еврейских семьях, то фаршированная рыба была совсем другой, какой-то воздушной, фасоль с томатом (цимес), тоже готовилась по-особому, и вообще, еврейская кухня, когда ею занимались хорошие домохозяйки, меня поражала.

А тетю Маню как домохозяйку испортил общепит. Она очень старалась, но изменить многолетним привычкам не могла. Мама вспоминала, как еще до войны, тетя Маня подчеркивала в разговоре: «там были наши и ваши». Мама не понимала, о чем идет речь, а Талалаевская поясняла — потом поймешь.

Она до старости оставалась бесхитростной, как и моя мама, и такой же доброй, поэтому они и дружили. Как-то за столом, когда мужья подпили, тетя Маня сказала маме: «Конечно, все мы смертные, но пусть твой Вася (отчим) и мой Сема умрут раньше нас…». Когда так и случилось, их одинокая жизнь стала невыносимой. Ее дети, как и мы с сестрой, продолжали жить своей жизнью…

Потом милиционеру подобрали в городе другую квартиру, и наша коммуна вновь полностью обрела своих прежних хозяев. Русскими в ней были только мама и мы, ее дети. Так мы оказались нацменьшинством. Однако в нашей коммуналке национальный вопрос не возникал, и я узнал о его существовании лишь в третьем или четвертом классе.

Зато были другие вопросы. Старший сын Беренштейнов пришел как-то к тете Мане Талалаевской одолжить деньги. Она в его присутствии приставила стул и залезла на кафельную печь, где хранила все свои ценности и деньги. Достала нужную сумму и выдала сыну соседей.

Через некоторое время долг вернули, и Талалаевская хотела положить его на место, но тут же обнаружила отсутствие остальных денег и драгоценностей. Она подняла шум, пошла к Беренштейнам, однако в милицию не заявила, хотя и знала точно, кто ее обворовал.

Следует отметить, что в нашей квартире вообще никогда никто из соседей официально не жаловался и кляуз не писал. Тетя Маня долго не могла успокоиться и на кухне постоянно вспоминала об украденных у нее ценностях. Особенно жалела о двух «сереброных» портсигарах, даже больше, чем о золотых кольцах и серьгах. Ее муж до войны работал в торговле, любил выпить, но при этом «умел жить». Украденные вещи ей были дороги не столько как материальные ценности, сколько как память о погибшем муже. Она возила их с собой всю войну.

В нашей большой коммунальной кухне каждая хозяйка за своим столиком что-то готовила и почти всегда передавала свой кулинарный опыт тем, кто находился рядом.

Раз в квартал на Жуковского в 30-м номере во дворе по карточкам «давали» муку. Очередь была такой же, как за сахаром или халвой. Часто стоявшие за ней женщины говорили: это не мука, это — мука. Зато, отстояв целый день в очереди, я получал бумажную трехкилограммовую упаковку и относил ее домой.

В тот же вечер мама после работы жарила хрустики в казане. Она давала их мне горячими, прямо с огня. Когда приходило время, наши соседи и родители приятелей по улице пекли мацу, которой угощали и меня. Пекарен, расположенных в подвалах, где ее делали, в городе было много. Она была такой, какой ей и положено быть — пресной и безвкусной. Но мы мацу ели с удовольствием, особенно если она была еще теплой.

Дети того времени не делили себе подобных по национальному признаку, редко различались и по имущественному. Группировались по месту жительства.

Играли не только в войну — часто и в названия городов. Играющие называли город, по последней букве очередной игрок вспоминал следующий, и так далее. Знание городов у малолетних детей было таким, какое имеют не все учителя географии. Многие ребятишки вдоволь покатались по среднеазиатским республикам. Они привносили свои знания об играх в «кости», «пожара», «маялку» и другие «азиатские» игры. Мы общались часами, и никто нас не звал домой…

## Трофеи

В наш двор, как и в некоторые другие, стали завозить немецкое армейское имущество, брошенное на местах боев и с прифронтовых хранилищ. Трофеи складывались посреди двора навалом. Лежали целые и разбитые ящики с коробками сапожной ваксы, набоек и шипов для солдатских сапог, другие вещи, нужные и не очень.

Рядом возвышалась гора немецких касок с нарисованными на них разными эмблемами: на некоторых были двойные молнии, орлы со свастикой, короткие трехцветные полоски. Были они разных цветов — черные, серые, зеленые, голубоватые. Внутри крепились красиво вырезанные из кожи амортизаторы. Многие шлемы были прострелены пулями или имели рваные осколочные отверстия — такие всегда были в крови с внутренней стороны.

Ребята нашего и соседних дворов выбирали самые красивые из них, надевали на голову и затягивали внутренние ремешки до упора, иначе они закрывали глаза. В руки брали другую каску, в которую загружали камни и шли «воевать» между собой. Камни были иногда увесистыми, и когда они попадали в защищенную голову, считалось, что это не больно, хотя это не всегда было так.

Бегали за «противником» недалеко от своего квартала, позади которого на ул. Бебеля (Еврейской) возле двора № 27 стоял совершенно целый советский истребитель, и мы, бросив «воевать», залазили в него. Никто не запрещал этого делать. Иногда подходил военный и предупреждал, чтобы мы только ничего не ломали.

Когда нам надоедало играть, мы направлялись в помещение бывшей синагоги, где располагался музей, в котором никогда не было народа. На Бебеля 25 нас пускали бесплатно, и мы смотрели на большие колбы с заспиртованными человеческими зародышами в разных стадиях развития. В большом зале стояли человеческие же скелеты. Там нам быстро надоедало, и мы возвращались на улицу.

В полуподвальном помещении нашего двора, слева от подъезда, хранились большие упаковки немецких почтовых марок, которые мы вынимали через небольшое окно. Марки были разных цветов и все с портретом Гитлера. Мы их рвали, жгли, никто не хотел нести это домой. Родители за хранение таких «ценностей» могли пострадать.

Справа от подъезда, в помещении бывшей румынской столовой лежала груда немецкого обмундирования, ношенного, возможно снятого с убитых. Там же валялись погоны, перчатки, знаки различия, тоже не представлявшие для нас интереса. Это имущество вообще не было нужно никому.

Заведовала этим хозяйством маленькая очень подвижная женщина — Левина. Ее все знали только по фамилии. Охрана, осуществляемая ею, была малоэффективной. Вечером Левина, намаявшись, уходила домой, и пацаны ломали ящики с ваксой, бобинами шлангов, искусственными оболочками для колбасы просто так, даже не из вредности. Левиной это не нравилось. В ее распоряжении имелась сторожевая собака — овчарка Альма со щенятами, всегда такая же голодная и обездоленная, как и мы со своими родителями. Натравить ее на нас было невозможно — мы сочувствовали друг другу.

## Машинка «Зингер»

Во двор швейной фабрики «Молодая Гвардия» вскоре после освобождения города завезли машинки, рабочие сиденья и прочее оборудование. Производство запустили очень быстро. Все три этажа, на которых размещался немецкий штаб, стали фабрикой, выпускающей одежду — ее очень не хватало.

В левой части двора возле большого подвала поставили огромный ящик, в который стали сносить обрезки материи, остатки ваты, катушки от ниток — для утилизации. Овчарка Альма с щенятами облюбовала это место. Мы с Ленькой пробовали играть с ними, но трогать своих детей сначала собака не разрешала. Возможно, до того ее лишали потомства в связи с нехваткой продовольствия.

Потом овчарка поняла, что мы ей не враги, и стала нас встречать веселым повизгиванием. Она знала время, когда в цехах начинается обеденный перерыв, и смело оставляла на нашу опеку свих щенков, уходя выпрашивать у полуголодных женщин, кто что даст.

Вечером приезжал с Привоза на своей подводе биндюжник Ютка, который часто выпрашивал у торговцев овощами какие-то отходы для собаки. Он привозил продукты для столовой почти каждый день и иногда брал нас с Ленькой с собой. Мы могли заработать на погрузочных работах немного капусты или несколько морковок.

Однажды я принес домой связанные шпагатом крупные обрезки сукна и разноцветного ситца. Мама меня похвалила и сказала, чтобы я такое добро приносил еще. Доставать из ящика обрезки материи, нитки и вату было несложно. Мама стала шить валенки и разноцветные ситцевые пододеяльники. Пригодных, то есть достаточно крупных лоскутов было немного, и я старался, как никогда, выискивать их. От меня зависело наше выживание.

Швейная машинка «Зингер» с ножным приводом, простоявшая много лет за шкафом, очень пригодилась. Без этой кормилицы мы вряд ли пережили бы голодовку 1947 года. Мама раскладывала на столе темные шерстяные лоскуты, сшивала их, потом прострачивала. Сделала выкройки из бумаги, по ним сшивала валенки. Вату и киперную ленту мама подкупала на Староконном базаре.

Осенью на Толчке и Привозе крестьяне такую продукцию покупали. Так у нас появилась в доме еда и мама могла приобрести нам даже какие-то носильные вещи. Производство не было быстрым, но других доходов в нашей семье не предвиделось. За время оккупации одежды у нас не осталось почти никакой. Валенки прострачивались с ватой и были очень теплыми. Мама пошила такие же и нам с сестрой, купила для них калоши, и мы были по тем временам шикарно обуты.

Пенсию на погибшего отца мы стали получать только в 1945 году и составляла она эквивалент менее чем трех буханок черного хлеба в месяц на меня и сестру. Устроиться на работу маме не светило…

В семилетнем возрасте я научился промывать керосином механизм «Зингера» и смазывать его машинным маслом, которое находил среди трофейного имущества во дворе фабрики «Молодая гвардия».

Постепенно я и сам научился шить — из лоскутов ситца сострочил себе плавки, в которых было не стыдно показать свои кости на Ланжероне. Таких скелетов, как я, было немало, но все они носили плавки однотонные, мои же выгодно отличались яркостью. Позже, при помощи этой машинки я вставлял клинья в морские брюки, делал «брюки-клеш», а еще позже сужал нормальные штаны до «дудочек» и был похож на «стилягу», но очень бедного. А чтобы казаться еще более «стильным», не стригся, отращивая огромный «кок». Как говорил нам учитель арифметики во времена, когда «стиляг» еще не было и в помине:

— На голове — во! (показывал большой палец).

— А в голове — во! (сворачивал кукиш).

Наши заработки

Однажды я игрался с большим шариком от какого-то подшипника возле парадного входа нашего двора. Шарик укатился и упал в подвальное помещение со стороны улицы. Было воскресенье, а достать его мне очень хотелось. Пошел я со стороны двора в подвал, где находилась тогда рабочая столовая. Двери оказались закрытыми, но в верхней форточке отсутствовало стекло. Пролезть внутрь для меня проблемы не составляло.

Залез, прошел к проему, где лежал шарик, взял его, и стал осматривать поварскую утварь. В котлах и кастрюлях не было ничего. Вышел из кухни в столовую, а там — целое богатство: стоят стопкой несколько ящиков сладкой газированной воды. Я быстро побежал на четвертый этаж за другом Ленькой. Вдвоем мы оказались в столовой очень быстро. Уселись возле буфета, и пили воду, сколько смогли.

Потом стали рассматривать дверцу буфета с небольшим замочком. Нашли какую-то железяку и открыли ее. Внутри оказалась торбочка с печеньем, немного леденцов и несколько кусочков нарезанного хлеба. Сначала мы вынесли по две бутылки лимонада и съели хлеб, затем вернулись, забрали печенье и конфеты.

Когда все оказалось возле дверей черного хода нашей квартиры, уселись и разделили награбленное добро пополам. Принесли все по своим домам, но вместо благодарности получили по задницам. Относить назад не рискнули — могли поймать охранники фабрики. Так мы с Ленькой стали «кормильцами».

На следующий день весь дом знал о крупном ограблении буфета столовой, но милицию не вызывали. Нас никто не заподозрил.

Прошел месяц, мы с Ленькой решили пойти в буфет, взять по несколько пустых бутылок, чтобы сдать их по пять рублей, а что делать с деньгами — потом решим. В воскресенье спустились вниз, но стекло в форточку уже вставили.

Когда разбили его камнем, в столовой раздался веселый визг Альмы и ее щенят — их оставили сторожить столовую. Под этот радостный визг мы пролезли внутрь, взяли по паре бутылок воды и решили полакомиться печеньем с конфетами. Опыт вскрытия замочка у нас был.

Внутри буфета опять оказалась торбочка с печеньем и конфетами. На этот раз пришлось поделиться с Альмой и щенятами, которые облизали нас в знак благодарности.

Домой в тот раз не принесли ничего. Все продовольствие «заныкали» на чердаке: торбочки спрятали возле дымоходов, а воду выпили. Взяли с собой половину печенья с конфетами, две пустые бутылки, которые сдали в будку возле гастронома на Троицкой, принимавшую их по пять рублей, и пошли гулять к друзьям-товарищам.

Угостили Толика Тита, Витьку с его братом, но откуда у нас такое богатство не объяснили. Утром следующего дня весь дом узнал о повторном ограблении буфета. Пришел участковый милиционер, но мы с Ленькой убежали на Приморский бульвар и до вечера дома не появлялись.

Когда пришли домой, наши мамы повторили процедуру наказания и объяснили нам, что в следующий раз нас таки поймают, и будем мы сидеть в настоящей тюрьме. Тогда это было вполне реально. Больше мы грабежами не занимались.

Ленька предлагал мне покормить печеньем двух девочек, переживших вместе с нами оккупацию. Они были несколько младше нас, но старались играться с нами — других детей в нашем дворе не было.

Я сообразил, что этого делать нельзя: они могли проболтаться. Их отец был по национальности немец, но эта семья жила одинаково бедно и при оккупантах, и после освобождения города. По всему было видно, что голодали они еще более жестко, чем наши семьи.

От старших детей мы слыхали, что немцев будут выселять из города, и нам с Ленькой было очень жаль этих малышек. Через несколько дней они действительно исчезли. Вся вина этой семьи была в том, что их отец родился в семье колонистов, живших здесь еще со времен освоения края.

Печенье с конфетами потихоньку доели, запили водой. На вырученные за пустые бутылки деньги пошли в кинотеатр «Уточкино» и посмотрели, кажется, «Золотой ключик».

Часто мы с Толиком Титом в конце дня ходили к морю по проторенной дороге — по Жуковского. В один из таких вечеров на углу Канатной мы увидели толпу зевак, окруживших двух иностранных моряков, которые с помощью проволоки вылавливали через решетку подвала кошелек. Из любопытства я спросил у стоявшего рядом пацана моего возраста:

— Что там американцы вылавливают?

— Ксивы, там больше ничего нет.

— А что, там много денег? — не унимался я.

Парень отскочил от меня, как от чумного. Толик Тит, слышавший весь разговор, подошел ко мне и покрутил пальцем возле виска: «Ксивы — это документы. Деньги — это бабки». Так, из-за своей необразованности я впервые опозорился перед пацаном с Канавы. Перешел уже во второй класс, а еще не осилил простейших понятий… С профессиональными ворами мы не контачили, и такой «пробел в образовании» бросался в глаза.

## «Мы танцуем и поем…»

Постепенно город застраивали новыми домами, которые стали называть «сталинками», и вместо руин появились красивые улицы с отремонтированными булыжными мостовыми. В «сталинках» поселялись, как правило, власть имущие — руководители крупных предприятий, пароходства, и работники, обеспечивающие их безопасность. Жители коммуналок считались обеспеченными жильем, их десятилетиями даже не ставили на квартирный учет.

По громкоговорителям, развешенным на улицах города, Левитан торжественным голосом вещал об отмене карточной системы распределения продуктов питания. Мы с Игорем услышали об этом, проходя по Екатерининский. Я обрадовался: «Теперь можно будет есть хлеб — сколько захочешь!» Игорь не разделял моего восторга, его отец получал хорошие пайки и пенсию. «А сейчас ты не ешь сколько хочешь?» Я замкнулся. Что можно ответить натощак?

В продовольственных магазинах внезапно появилось столько сортов колбас, окороков, рыбных консервов, сколько одесситы не помнили со времен НЭПа. В обычных дешевых забегаловках на прилавках лежали консервированные крабы, красная икра. Цены кусались… Низкооплачиваемое население облизывалось, глядя на продукты.

В подвалах разместились приемные пункты стеклотары, на Привозе обосновалось «Утильсырье». «Жить стало веселей», но по-прежнему нужно было не лениться и продолжать лазить по подвалам и развалкам.

После реформы мама стала отмечать дни рожденья, сестры и мои, свои начала отмечать позже, когда наступили лучшие времена. В такие дни она устраивала «пир на весь мир» — покупала три пирожных и заваривала чай. Желала нам мама здоровья. О том, что имениннику полагаются подарки, мы узнали значительно позже.

У всех моих друзей кроме Игоря отцы погибли на войне или куда-то делись, а их мамы работали на должностях не выше уборщицы в ЖЭКе. На другую работу их отделы кадров не оформляли. Зарплата уборщицы составляла 140–160 рублей в месяц, а буханка хлеба стоила теперь около трешки, килограмм мяса — 11–16 рублей. Цены на одежду составляли и вовсе астрономические суммы: брезентовые туфли тянули на тридцатник, а хорошие — на три сотни. Женщинам, имевшим даже одного ребенка, жилось невесело и после реформы…

А по радиоточкам круглые сутки — веселые колхозные частушки, воспевающие хорошую жизнь на селе. Вскоре вдруг и сразу исчезли все инвалиды войны с Ришельевской и базаров. Куда — так и осталось загадкой…

В неизвестном направлении были вывезены одесситы, в жилах которых текла немецкая, греческая, татарская и еще какая-то кровь. Потом их следы обнаружились в Сибири, Казахстане… Цыгане считались пострадавшими от румын и немцев, их не трогали, но и на руководящие посты, конечно, не ставили. Ждали, видно, когда они станут интернационалистами.

Школьная подруга сестры после седьмого класса окончила какие-то курсы медработников, и была направлена в Ивано-Франковскую область. Дина получила от нее одно письмо, в котором подруга сообщила о жизни среди бандеровцев. Это была первая и последняя весточка от нее… Девочка с мамой была из тех, кто «побывал на территории, занятой врагом…», кого еще следовало посылать в логово ОУНовцев?

Заселялась Одесса быстро. Вполне нормальным считалось, когда в одной комнате проживало шесть и более человек. Одесситы знали по именам и кличкам всех жителей не только своих дворов, но и близлежащих кварталов. Знали также, через кого и что можно достать или недорого купить, и все доставали «по блату». При мизерной официальной зарплате иначе и не могло быть.

Соседи по коммуне или знакомые никогда не подходили к мяснику или рубщику мяса, если знали продавца, жившего по соседству. «Свой мясник» подберет кусочек мяса с такой косточкой, что будете его вспоминать дома! Не понесет же он эту косточку домой, «вы это понимаете, когда вынимаете».

У слесаря-водопроводчика не может быть судьбы иной, как стать алкашом, если жена-Мегера от него не будет отгонять соседей.

Особым уважением пользовались жильцы одесских двориков, работавшие на мясокомбинате. Этих дорогих людей ожидали с работы соседи, как дворовые собаки облизываясь до ушей при одном их виде. В считанные минуты раскупалось вынесенное с работы мясо, упакованное в бумагу. Вес проверять было не нужно — это вам не базар.

Соседи в упор не видели работников «умственного труда», приходивших с индустриальных заводов желто-зелеными, как и уборщиц или дворников — все они не умели жить. С ними даже не о чем говорить.

Любили одесситы моряков, особенно когда те приходили с рейса и привозили модные «шмутки». Да и как могли их не любить соседи, когда у них денег куры не клюют до самого отхода в следующий рейс?

Некоторые подвалы в городе пустовали. Там стали открывать забегаловки под вывеской «Вино». Иногда свои люди пробивали помещения даже на первых этажах, и там появлялись такие же винарки.

В сырых душных прокуренных подвалах, в обстановке безысходного пьянства, веселился «одесский трудовой народ». Запах испарений дешевых крепленых вин и пота давно немытых тел смешивался с дымом курильщиков. Он не выветривался через лестницы подвалов, длинные или короткие, хотя двери никогда не закрывались.

Стакан столового вина стоил 2 рубля, а крепленого — четыре с копейками. Бутылочный продукт потребляли «аристократы» в день получки. Во всех забегаловках имелись свои постоянные клиенты, смачно облизывавшие пересохшие губы и преданно посматривающие на продавщицу.

Туда заходили не только «ханури» или пьющие работяги с малыми доходами. Приходили московские специалисты по «одесской экзотике», чтобы послушать пьяный бред «колоритных высказываний», которые иногда удачно использовали в своих литературных произведениях и киносценариях.

Нашим ханыгам они зачастую были обязаны своим благополучием и «знанием» Одессы. Постоянные клиенты, самые зловонные «ханури», были чем-то вроде декорации, живыми рекламными роликами забегаловок, на которых продавщицы «шмурдяка» не обращали внимания. Они имели свое «рабочее место» на краю стойки.

При кажущейся хаотичности перемещения ханыг, порядок в забегаловках соблюдался. Никто не старался купить вино без очереди, и люди относились к себе подобным с уважением, иногда подчеркнуто вежливо. Пьяные шутки постоянно витали в воздухе и принимались весело. Продавщицы в наглую недоливали, а вместо сдачи давали леденец или мягкую дешевую конфетку, не спрашивая согласия. Они явно ненавидели своих клиентов, но любили деньги. Приходилось терпеть вонь и «веселые разговоры».

Обычно продавщицы вели себя нарочито строго. Они были не очень старыми, с губами, накрашенными ярко-красной помадой почти до носа. Веки щедро украшались черной тушью, от жары и духоты стекающей по щекам.

Вошедшие ханури редко выходили из заведения скоро. Они многократно повторяли, шутили и курили иногда часами.

Вечерами в забегаловках негде было повернуться, и работяги покупали сразу по несколько стаканов «шмурдяка», чтобы не стоять повторно в очереди. Воздух к вечеру становился особенно спертым, даже зимой. После предупредительных окриков о закрытии винарки, посетители начинали расползаться в прямом и переносном смысле в разные стороны от входных дверей, по чьему-то меткому выражению, «как усцаны мухи». Отключались где угодно — вытрезвители появились значительно позже… Рано утром посетители опять собирались возле погребков, трясущимися руками пересчитывая «сармак». Денег почти всегда не хватало…

«Одесский язык», на котором общались «ханури», был мне понятен с детства. На нем разговаривали соседи не только нашей парадной. Когда я начал читать, то с удивлением обнаружил, что этот язык не совсем русский, не совсем украинский или еврейский, и даже не блатной. Редко кто из этих одесситов, а тем более «ханури», что-либо читал, и разговаривали люди на таком суржике по причине своей безграмотности.

Одесситы стали подражать Марку Бернесу, который играл роль нашего земляка в фильме «Два бойца». Артист даже не бывал в Одессе до того, а выговаривать мягко шипящие звуки его научили москвичи, попившие «шмурдяк» с нашими беззубыми «ханурями». Одесские обороты речи — это совсем другое, это — живой язык, от которого одесситы никогда не избавятся, как россияне «акать» и «окать».

Понимать тонкости одесского юмора лучше начинать с детства. Он всегда живой и адекватен ситуации. Пошутить по-одесски на заказ вряд ли получится.

## «Хорошо тому живется…»

С осени 1947 года в парке им. Шевченко стали проводить областные выставки достижений сельского хозяйства. Возле украшенных венками из пшеницы, кукурузы, яблок и винограда павильонов играли духовые оркестры.

Вблизи стадиона за загородками стояли бугаи, выглядевшие так, как будто их одолжили у хозяев на Бугаевке, а коровы смотрелись как «слободские» — красивые и ухоженные. Откуда-то привезли свиноматок весом более 600 кг, их уложили в большие ящики с чистой соломой. По этим розовым свинкам бегали десятки поросят, они присасывались к ним, и музыка им не мешала.

В дальнейшем мне довелось видеть настоящих колхозных свиней в местах их обычного содержания. Бегали они по свинарнику и крутились, уворачиваясь от наседавших на них крыс. Выставочные экземпляры, вероятно, не убежали бы…

Одесситам показывали таких свиней, какие «будут жить при коммунизме», конечно, если доживут.

Возле стендов лежали огромные арбузы, дыни, очень красивые яблоки и груши. В последние дни выставки все это распродавалось и разрешалось пробовать. По этой причине мы из парка не уходили допоздна.

Коров доили доярки в белых халатах, и ничего не было удивительного, что одесситы запели: «хорошо тому живется, кто с молочницей живет!» А может, и правда, что молочницам тогда жилось хорошо, а с ними — тем более?

Одесса постепенно приходила в себя. Появились семьи, в которых, кроме матерей работали и отцы. Их благополучие резко отличалось от семей матерей-одиночек, в которых отцы погибли.

Люди стали приобретать что-то, и это что-то выходило из строя. Город реагировал моментально — появились мастерские по ремонту примусов, утюгов, радиоприемников. Вскоре их объединили в артели, из которых выделялась своими масштабами «Трудпобут». В ее составе работали большие мастерские по изготовлению плакатов, транспарантов, без которых советские праздники невозможно было представить.

Недолго бы руководитель любого предприятия веселился, если бы не обеспечивал своих подопечных наглядными атрибутами преданности идеалам коммунизма.

Артель «Трудпобут» процветала. Она занимала разные призовые места в соцсоревнованиях и была тем предприятием, куда стремились попасть на работу многие одесситы. Еще никто не боролся с пьянством, и при хороших заработках трудящиеся артели позволяли себе бывать в хорошем настроении. Когда клиент заходил в мастерскую, его встречали как лучшего друга, даже если он немного разбирался в технике, и знал, что нужно заменить в его примусе:

— Уважаемый товарищ, — извиняющимся тоном обращался клиент к крупному специалисту, — замените, пожалуйста, кожицу в насосе…

Слесарь брал в руки примус. Священнодействовал.

— О чем Вы говорите? Здесь же нужно отремонтировать весь подкачивающий агрегат!

Я сам имел возможность убедиться в высокой квалификации слесарей артели, когда надел на средний палец левой руки наперсток без донышка. Палец быстро распух, посинел и мне пришлось пойти в детскую поликлинику.

Хирург осмотрел палец, подавил на него, после чего покачал головой и обрадовал: «Молодой человек, я Вам помочь не могу… Но посоветую — обратитесь в мастерскую по ремонту примусов на Ленина угол Бебеля.

В этой мастерской работал шустрый старичок, пропахший всеми видами смазочных материалов и насквозь пропитанный керосином. Он внимательно осмотрел мой палец с наперстком, предупредил, что придется потерпеть и достал новенькую пилочку от лобзика, которую продел под наперсток. Затем закрепил посиневший палец в тиски, пилочку вставил в лобзик и стал пилить.

Кожа протерлась, пошла кровь и я отвернулся, чтобы не видеть, что приходится терпеть моему пальцу. Знал, что больше мне никто не поможет. Слесарь распилил наперсток, разогнул его, и мне сразу стало легко. Палец занемел, и стало щекотно. Вместе с облегчением пришла мысль о том, что дедушке за работу нужно заплатить, а денег нет… Пожилой слесарь видимо по выражению лица понял мое затруднение и сразу успокоил: «За такие услуги я денег не беру».

Пошел сильный дождь, и старичок-слесарь предложил мне посидеть какое-то время в мастерской, но что может быть лучше летнего дождя, когда освобожденный от наперстка палец уже не болит? Я, как был в одних трусах и майке, побежал к своим друзьям, уже носившимся, как торпедные катера, вдоль бордюров — они принимали водные, а заодно и грязевые процедуры. Такой душ был намного приятнее платного, в бане. Не нужно занимать очередь и платить.

«Кто последний, — я за вами,

Стричь на жопе волоса,

Дождик, дождик…»

Это была модная тогда песенка «Дождик», в обработке, наверное, инвалидов войны, потому, что были там слова:

Я сижу на дне окопа

И имею бледный вид,

У меня промокла жопа

Потому, что моросит

Дождик, дождик…

Это я еще привел самые приличные строки…

Летом мама получила на меня путевку в пионерлагерь «Пищевик», располагавшийся недалеко от Аркадии. Перед входными воротами находилось помидорное поле. Урожай созревал, и вечером ноги пионеров сами заносили их туда, где краснели овощи.

Смена кончилась, и во дворе я радостно оповестил друзей о том, что знаю, где растут красные помидоры. Не обратил я внимание на главное: пионерские набеги производились вечером. Утром следующего дня собрались Ленька, Вовка-костыль (у него с войны не было одной ступни), и я. Сели на трамвай № 17, который доставил нас к полю.

Вовкину маму судьба не баловала. До войны она окончила курсы медсестер и всю войну провела на передовой.

Зимой на нее «что-то нашло», и Вовка вылетел со второго этажа вместе с оконной рамой. Соседка, проживавшая рядом с мясником Мишей, забрала полуголого пацана к себе в комнату. Вовкина мама еще некоторое время побушевала и пошла разыскивать сына. Соседка по утрам, как обычно, пошла покупать разливное молоко с бидончиком в руке. По следам на снегу маме удалось определить, куда похитители отвели сына.

«Ты, блядюга с бидончиком! Отдай моего Вовку, а то разнесу твою берлогу!»

Всю речь, произнесенную в то утро, я не запомнил, но все же значительно пополнил свой словарный запас.

А на поле вначале все шло хорошо. Помидоров мы наелись, накидали за пазуху для дома, для семьи, но тут сзади на мотоцикле подъехал к нам какой-то важный колхозный начальник. Мы побежали через поле к трамвайной остановке. Вова прыгал на одной ноге с костылем так быстро, как только мог.

Колхозники, работавшие на поле, старательно делали вид, что хотят нас поймать, но пропустили.

Рядом с рельсами стоял забор высотой не менее чем в рост взрослого человека. Первым мы перекинули через него Вовку, потом я помог перебраться за забор Леньке. Когда остался один, то, оглянувшись, увидел грозного колхозника, который бросил свой мотоцикл и уже бежал ко мне. Ноги, как две пружины, забросили меня на забор, и я повис на нем на вытянутых руках. Еще быстрее я оказался рядом с друзьями-товарищами, в нетерпении ожидавшими меня. У всех троих помидоры превратились в заготовку томатного сока, и мы пошли в сторону моря. Никогда после этого случая я не мог с места запрыгивать на такую высоту. Даже не пробовал.

Как уже читатель знает, клички имели все ребята, шастающие по улицам: «Мартын», «Беня», «Слон», «Пожарник», а я был — «Билли Бонс». Почему-то ко мне приклеилось это пиратское имя, возможно из-за отдаленного сходства с киноактером, исполнявшим роль персонажа в фильме, который тогда часто крутили.

С Шуриком (тем, которому кричали «Жо-о-па!», а он радостно поднимал вверх руки, давая понять, что сигнал принят), я познакомился в радиокружке Дворца пионеров — им стал Воронцовский дворец. В маленькой комнатушке коммуны на улице Жуковского 30, где мы собирали детекторный приемник, было тихо. Увлекшись, мы не заметили, как вошла его мама.

— Когда ты перестанешь выматывать мне кишки? Опять занялся ерундой?

На такие замечания Шурик серьезно ответил: «во-первых, мама, я не занимаюсь ерундой, а во-вторых, — может быть, это будет мой кусок хлеба. Не всегда же я должен ходить голодным…»

Это было первое услышанное мною высказывание моего ровесника, думающего о том, как он будет зарабатывать на жизнь.

Ни у кого из моих друзей и знакомых, включая школьных товарищей, не было тогда «пьющих» мам. У всех осталось мало радостей, но с горя мамы не пили, и никогда нас не наказывали за двойки, которые нам самим не очень нравились…

## Вражьи голоса

Когда в семьях начали появляться недорогие радиоприемники «Рекорд», «Балтика» и другие, население стало слушать запрещенные «вражеские голоса». В школе учителя стали объяснять, что иностранные радиостанции так клевещут на нашу страну, что «уши вянут». Они говорят о том, что у нас за колючей проволокой сидят миллионы политзаключенных, а многие сотни тысяч расстреливают, чего не может быть никогда. Такие песни, как пели некогда блатные:

Я говорю, как говорил мене один,

Кто в ДОПРе не был — тот не честный гражданин!

— давно не соответствуют нашей социалистической действительности. К тому же этого никогда не было. Американский негритянский певец Поль Робсон пел по радио из Москвы, что

Я другой такой страны не знаю,

Где так вольно дышит человек!

Какие еще доказательства нужны? И жалко нам было американских детей, которым было еще хуже, чем нам. Так нам объясняли «капиталистический рай» наши нищие учителя.

Моя сестра Дина пошла работать учетчицей на стройку. Вечером училась в школе, куда ходить в самодельных валенках ей стало неудобно. С первой получки она по блату купила туфли за триста рублей. Мама не могла успокоиться — за такие деньги туфли?!

Она ходила на работу в спецодежде и резиновых сапогах, которые ей выделили для работы в мокром цеху…

Дина иногда рассказывала маме о своей работе. Мужского населения в Одессе было мало. Наши строители еще воевали или находились в «местах не столь отдаленных».

На стройки присылали пленных специалистов. Немцы работали хорошо, но медленно. При норме изготовления за смену трех дверей они делали только одну. После всех видов вычетов на продукты питания им оставалось меньше, чем было при голодоморе. Так их и кормили.

Наши плотники уговаривали их делать такие двери, какие нужны строителям, но немцы не могли поступиться качеством, тощали и умирали.

Конечно, и немцы наших пленных ранее не берегли, и понимали, что «за что боролись — на то и напоролись».

Зарплата у наших мам была ненамного выше, и после «добровольной» подписки на заем развития народного хозяйства, оплаты жилья, электроэнергии, покупки нам тетрадей и учебников мало что оставалось.

В школе учителя нам разъясняли, что наши родители оплачивают самые дешевые в мире коммунальные услуги, но не уточняли, из какой зарплаты… Песни и поговорки — шутки, ставшие хохмами без привязки ко времени, зародились тогда: «Україна — рідна мати, не вкрадеш — не будеш мати…»

Каждый одессит искал свой «кусок хлеба», молча ел его «под одеялом», и если бы засмеялся на эту тему, то в тот же час и подавился бы.

А мы голодными глазами смотрели на своих мам, побывавших «на территории, занятой врагом», а те, сами не всегда сытые, отвечали нам взглядами загнанных лошадей.

После освобождения города американские суда «Либерти» привозили в порт военные грузы, продовольствие, одежду и еду голодающим детям и их родителям. Помощь исчезала в неизвестном направлении.

Моряки американских судов прогуливались по городу, как туристы. По улицам ходили хорошо одетые чернокожие матросы с фотоаппаратами. Они явно выискивали таких голодных оборванцев, как мы, и выманивали в места, где панорама казалась им подходящей. Мы не строили из себя октябрят, когда они настраивали объективы и бросали нам пару пластинок жвачки. Мы выхватывали, кто что успевал. Негры с веселыми лицами нас фотографировали — детей победителей в пыли на фоне развалок города.

Эти снимки, возможно, попадали в американскую печать, и я тоже, думаю, прославил Одессу своим изображением.

## Родственники

Как-то проездом остановились у нас дочь маминой сестры Тани Зина со своим мужем. Она была небольшого роста, полновата, одевалась элегантно.

Почти все мамины родственники жили в Грозном. Похоже, что Зинин муж тоже был родом из Чечено-Ингушетии, во всяком случае, восточная кровь в нем чувствовалась. Был он среднего роста, вел себя очень доброжелательно.

По приезду они накрыли роскошный стол с мясом и фруктами. Ощущалось, что с деньгами у них проблем нет. Погостили они несколько дней и засобирались домой: работа не ждет. Я напросился поехать с ними, и они меня взяли.

Приехали в какое-то село, расположились в глинобитном домике с соломенной крышей. Во дворе стояла глиняная печь, которую топили соломой, на ней варили еду из хороших продуктов. Рядом был ставок, в котором купались деревенские ребята. Зина с мужем ушли на работу, а я решил показать деревенским, как умеют плавать одесситы. Прыгнул в воду, поплыл, и почувствовал, что пресная вода не хочет держать мои кости на плаву. Захотел вернуться к камышам и стал барахтаться по-собачьи. Попробовал встать на ночи — а там — мокрый ил…

«Держать фасон» не получается, стал повизгивать. Оказалось, что я умею не только плавать по-собачьи, но и визжать… Повезло, что Зинин муж пришел почему-то домой. Увидел мои упражнения, разделся и вытянул на берег спортсмена-любителя, с повисшими ушами.

Вскоре Зина отправила меня в Одессу, им нужно было «сматывать удочки». Оказалось, что они оформлялись на работу бухгалтерами в небедные колхозы и добросовестно работали ровно до того момента, пока в их руках не оказывалась серьезная сумма. А потом — ищи, свищи… Это же произошло и в этот раз.

После моего возвращения прошло уже несколько дней, когда к нам нагрянула милиция с обыском. У нас дома кроме казанка с мамалыгой на печке ничего не обнаружили, что очень расстроило и рассердило милиционеров:

— Как это так, что кроме мамалыги у вас дома ничего нет?

Нашли несколько «катенек» (царских банкнот-сторублевок), которые сестра положила в шкаф.

— Царя ждете?!

Это еще хорошо, что я не принес домой почтовых марок с Гитлером.

— Советская власть вам не нравится?!

Мама не на шутку испугалась, стала им рассказывать, как ей нравится советская власть, давшая ей образование и подарившая счастливую жизнь. Ее слова можно было бы трактовать как издевательство, но милиционеры до этого, видимо, не додумались. Они ушли, со злостью хлопнув дверью.

Во дворе № 23 по ул. Жуковского жил в семье врачей института Филатова (тогда академик был еще жив) наш ровесник, Володя Данченко. Он был отличником, с нами не якшался, одевали его в хорошие костюмы. Дома он изучал немецкий, английский и французский языки.

Как-то, как раз в то время, когда Павлик Морозов был практически официально «канонизирован», он выбежал из дома к нам во двор, и стал рассказывать, выкатив глаза, что вчера к ним пришли в гости профессора, долго пили, а потом говорили на товарища Сталина такое, что он решил сейчас же пойти в милицию.

Впрочем, после моего вопроса «хочешь ли ты остаться без родителей?», ему сразу расхотелось подражать пионеру-герою…

Мама покупала мне парусиновые туфли на микропорке. Стоили они менее 30 рублей, и носили такие туфли все, кто не жил на широкую ногу. Чинить их приходилось, и довольно часто, у сапожника, недалеко от нашего дома. Ремонт производился в присутствии заказчика, при этом сапожник непрерывно напевал украинские народные песни, вроде:

Як у того зайця мальовані яйця!

Одне сіре, друге біле — мальовані яйця.

Или:

Як у лісі, у лісочку зустрів заяць лісоньку,

Тай їй каже — лісу, дай…

Я б дала. Та я боюся — буде дівчина Маруся.

— Ти не бійся, лісу, дай — буде сину Миколай.

В отремонтированных туфлях, наслушавшись фольклора, можно было бежать к ребятам, продолжать играть в футбол.

## Соседи

Мама приходила с работы поздно вечером, и я ее обычно встречал возле нашего дома. Она шла пешком от Чумки, экономя копейки на проезде в трамвае. Одета она была в рабочую робу и резиновые сапоги, и мне было обидно смотреть не нее, такую измученную и бедно одетую, еще и потому, что для меня она была умнее и добрее всех наших соседей, солидно проходившим мимо меня домой.

Очень важно шел с работы парикмахер, работающий в Портклубе, одет он был в светлый костюм и нес большой кожаный портфель. Его дочь Люда рассказывала, что он никогда не ложился спать, пока не прослушает последние известия из Москвы, и я думал, что более культурного человека в нашей парадной нет.

Большинство наших соседей работали на административных должностях в ресторанах, прокуратуре, других довольно престижных работах. Они имели возможность достаточно прилично одеваться.

Кроме нас, бедной была лишь тетя Маня Талалаевская. Беренштейны. Их дочь вышла замуж за директора ресторана «Волна», и молодая семья часто устраивала серьезные попойки. Они рассказывали соседям, что очень везучие — часто выигрывают деньги на ипподроме, куда очень любят ездить.

На первом этаже нашего дома проживал в самостоятельной двухкомнатной квартире Герой Советского Союза с женой, очень красивой женщиной. Должность он получил согласно высокому званию, и жил на широкую ногу, никому не объясняя, откуда у него деньги. Герой часто приходил «веселым» и всегда был одет лучше всех мужчин нашего дома. Как-то, хватив лишнего в дружеском кругу, он проболтался, что Звезду Героя купил. На другой день ему пришлось исчезнуть. Жена его сразу утратила свою надменность, стала тихой и какой-то запуганной.

Однажды она подозвала меня, дала три рубля, показала на двух молодых соседок, и попросила, чтобы я послушал, о чем они говорят. Я подошел к ним, но подслушивать не смог — видимо во мне уже зрели задатки связиста. Вернул красавице ее трешку. Вскоре и она куда-то исчезла.

Вместо семьи «героев» поселилась в этой квартире чета родственников управдома со своей некрасивой дочкой. Звали ее Элла, и очень быстро она получила прозвище «кривляка».

Очень хорошо одевалась семья Булатовых, жившая в нашей коммуне под той комнатой, которую румыны «освободили» в начале оккупации, выбросив с балкона парализованного хозяина. Старший Булатов был высоким мужчиной с николаевской бородой. Как рассказывали соседи, при царе он был полковником. Он и был похож на такового. Его жена, крикливая шустрая еврейка, тетя Зина, женила на себе «бывшего», пригрозив, что в случае отказа он будет объясняться о своем происхождении в НКВД. Вместе с тем, жили они дружно, у них родился сын, Марек, окончивший юрфак одесского университета.

Марек получил назначение в городскую прокуратуру, женился на деревенской девушке, которая очень быстро вошла во вкус светской жизни города. Она часто ездила в Москву к портнихам, шившим платья тамошней элите.

Марек резко пошел вверх по служебной лестнице, получил должность прокурора города, затем области, но денег все равно катастрофически не хватало. Ну, вы понимаете: новая квартира, мебель, туда-сюда… Не помнил он выражения «жадность фраера сгубила». Не удержался от получения крупной взятки от коммерсантов по сбыту крепленого вина в винных забегаловках города.

Процесс был громким. Выяснилось, что вино «подкреплялось» спиртом, отработанным в моргах, больницах и других медицинских учреждениях.

После смерти жены старший Булатов часто одиноко сидел на скамейке в Кировском сквере. Встречая меня, он очень учтиво здоровался. Мне было жаль его. Внуков он не дождался, да и шансов их когда-либо увидеть у него не оставалось.

В школе все было проще. Мой сосед по парте Вова пригласил меня поехать поздно вечером на тринадцатом трамвае за виноградом. Уговаривать меня долго не пришлось. В наступающих сумерках мы сошли возле Школьного аэродрома, где были большие виноградники. Залегли, чтобы определить дислокацию сторожа.

Вскоре показалась освещенная лунным светом худощавая и кривая тень сторожа с такой же кривой палкой на изогнутом плече. Выглядел он не страшно. Мы проползли между кустами, выбрали такие, на которых росли крупные гронки винограда и сперва наелись «от пуза». Затем загрузили сумки от противогазов, которыми запаслись заранее, и поползли в сторону трамвайной остановки.

Сторож несколько раз проходил мимо нас, стуча колотушкой и повторяя: «Чую-чую, бачу-бачу». По всей видимости, он был совершенно глухим и слепым.

Встали, отряхнулись, аккуратно развесили на себе сумки, и когда сами себе понравились, обнаружили, что трамвай уже не ходит. Пошли по шпалам в город.

Явился я домой ночью, с геройским видом выложил на стол виноград и стал ожидать, когда меня похвалят. Не дождался. От обиды сразу засопел. Утром положил в сумку несколько гронок для школьных товарищей, не жалевших для меня «кецики». При дележке сказал «пару ласковых» в адрес тех, кто жалел. Ко мне подошел крепко скроенный Мармельштейн, отвел в сторону и сделал замечание: «не позорь нацию!»

— Я не еврей.

Лицо Марека выразило удивление, и он быстро отошел от меня. Стало понятно, что евреям ругаться матом нехорошо, но на улице они мне в сквернословии не уступали…

Самой «политически подкованной» в школе считалась учительница украинского языка. Видимо поэтому кто-то из учеников ее спросил: «Лидия Васильевна, а почему румыны и немцы так не любили евреев?» Она долго думала и ответила: «у евреев язык очень похож на немецкий, и они мешали фашистам торговать».

После войны в городе порой возникали споры и оскорбительные выпады между украинцами, русскими, евреями. Невольно возникал вопрос: люди какой национальности любят иноплеменников? И правильно воспитывали нас одесситы, старающиеся не разжигать национальные страсти.

Из-за большой скученности людей в коммунальных квартирах завелось огромное количество клопов. Выводили их дустом (ДДТ), имевшимся на всех предприятиях. О вреде препарата никто не думал, было бы клопам плохо. Мой соученик Миша Рабинович принес в школу анекдот:

Плывет через Тихий океан в Америку корова, а навстречу ей в СССР плывет клоп.

— Зачем ты плывешь в Америку, корова?

— В СССР меня замучили, доят по три раза в день и не кормят… А ты почему плывешь в Союз?

— В Америке живут в большом доме по два человека. Пока найдешь где они ночуют, сдохнешь с голодухи!

# Эпилог от соавтора

Завершилась первая часть «Записок одессита», в которой рассказывалось о времени оккупации и послевоенных годах в Одессе.

Возможно, кому-то покажется, что книга перенасыщена подробностями, отвлекающими от какой-то главной идеи. Других может расстроить несоответствие описания обстановки сложившимся представлениям.

Даже коренные одесситы не демонстрируют единомыслия по поводу того, как жилось «при румынах».

Часть населения и сегодня считает, что тогда было время хорошее. Следует отметить, что таких — меньшинство. Возможно, их предки как-то пристроились. Потом, когда пришли наши, им стало плохо.

Кто-то наверняка будет критиковать «Записки» за очернение послевоенной действительности. Не исключено, что их родственники жили в лучших условиях, чем описаны в книге. Бог им судья. Мой отец рассказал о том, что видел и чувствовал. Достоверность этого повествования подтвердили мне многие его сверстники, с которым мне посчастливилось познакомиться. Эти люди заслуживают доверия.

Третьи по поводу оккупации собственного мнения не имеют.

Книга представляет собой слепок времени. Она — для тех, кто любит Одессу и хочет знать о ней как можно больше.

Во второй части «Записок» рассказ пойдет о послевоенных десятилетиях — пятидесятых и шестидесятых годах. Это тоже очень интересно.